



Авдотья Панаева

МЕЛОЧИ
ЖИЗНИ
ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ

романы

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Авдотья Панаева

Мелочи жизни. Женская доля

«Издательство АСТ»

1854, 1862

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

Панаева А. Я.

Мелочи жизни. Женская доля / А. Я. Панаева — «Издательство АСТ», 1854, 1862

ISBN 978-5-17-177857-6

В эту книгу вошли два романа Авдотьи Яковлевны Панаевой (1820–1893) — «Мелочи жизни» (1854) и «Женская доля» (1862), не переиздававшиеся со времени первых публикаций. В эпоху бурных общественных преобразований Панаева предложила уникальный взгляд на «женский вопрос». Она показывает необычных женщин, чье право на счастье разбивается о семейный деспотизм, сословные предрассудки и равнодушие общества. Романистка вскрывает и природу лицемерия мужчин, у которых прогрессивные слова о равноправии и свободе порой прикрывают лишь новые формы унижения женщин. Благодаря проникновенным произведениям Панаевой русская классика обретает более объемные очертания.

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-177857-6

© Панаева А. Я., 1854, 1862
© Издательство АСТ, 1854, 1862

Содержание

Авдотья Панаева: проза женщины эпохи реализма	6
Мелочи жизни. Роман	18
Часть первая	19
Пролог	19
Глава I	25
Глава II	33
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Авдотья Панаева

Мелочи жизни. Женская доля

Составители Павел Успенский, Андрей Федотов

Художественное оформление Елизаветы Корсаковой

В оформлении использован «Портрет Авдотьи Яковлевны Панаевой» работы К. А. Горбунова из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина

© Панаева А. Я.

© Корсакова Е. М., художественное оформление

© Успенский П. Ф., Федотов А. С., составление, вступительная статья, комментарии

© Гусева З. В., Колюпанова К. Е., подготовка текста

© Гусева З. В., Колюпанова К. Е., Успенский П. Ф., Федотов А. С., словарь

© Всероссийский музей А. С. Пушкина, изображение

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Авдотья Панаева: проза женщины эпохи реализма

Мир классической русской литературы невозможно представить без ярких героинь: начиная с «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина писателей волновали судьбы современных женщин. Для культурной памяти образы Ольги Ильинской, Анны Одинцовой, Наташи Ростовской, Анны Карениной, Сони Мармеладовой и Настасьи Филипповны Барашковой значат не меньше, чем судьбы героев-идеологов великих романов XIX века. Характерно, что самые яркие женские характеры были созданы писателями-мужчинами. Большинство современных читателей едва ли сразу назовет писательниц классической эпохи, а если их и вспомнит, то скорее всего согласится, что их роль в литературном каноне невелика. В воображении наших современников женщина XIX века чаще всего играет роль музы, спутницы или преданной жены. Без Е. А. Денисьевой и М. К. Лазич в русской литературе не было бы пронзительной любовной лирики Ф. И. Тютчева и А. А. Фета, без П. Виардо – многих страниц о любви И. С. Тургенева. А. Г. Достоевская и С. А. Толстая – жены всемирно известных писателей – помогли им справиться с жизненными невзгодами и облегчили самую рутинную и тяжелую часть литературной работы.

Однако представлять себе женщин середины XIX века только как героинь романов или вдохновительниц их авторов значит сильно ошибаться, – в литературе, науке и обществе они играли все более важную роль. Под влиянием европейских интеллектуалов 1830–1840-х годов общественный и культурный статус женщин стал постоянным предметом публицистических полемик и дискуссий. Ключевой фигурой, вдохновлявшей многих прогрессистов и раздражавшей консерваторов, была, конечно, Жорж Санд (А. Дюпен; 1804–1876) – выдающаяся французская писательница, в сенсационных романах которой провозглашалось право женщины на самостоятельную роль в семье и в обществе. Героини романистки, да и она сама стали образцом для нескольких поколений европейских женщин. Безусловным кумиром Жорж Санд была и для русских либералов-западников 1840-х годов.

В 1850-е годы в российской публичной сфере был поставлен так называемый женский вопрос, который горячо обсуждался наряду с подготовкой освобождения крестьян и других реформ внутренней политики. Неслучайно в словаре этой эпохи французское слово «эмансипация» в равной мере употреблялось для идеи освобождения и наделения гражданскими правами и женщин, и крестьян.

Новую страницу в осмыслении женщин открыл писатель и публицист М. Л. Михайлов, жизнь которого ознаменовалась яркими семейными экспериментами жоржсандистского накала. В 1860 году он опубликовал в «Современнике» статью «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе», в которой призывал родителей перестать готовить дочерей исключительно к роли украшения общества и дать им полноценное образование. Публицист шел еще дальше. «Надо открыть женщине свободный доступ ко всем родам деятельности, теперь составляющим исключительную привилегию мужчины, – требовал Михайлов, – иначе самое образование не будет достигать цели, будет мертвым капиталом для общества и часто тяжелым преимуществом для женщины, которой нет возможности применить к делу свои дарования и сведения».

Формулируя столь радикальную для своей эпохи программу, Михайлов вдохновлялся не только современными европейскими социальными идеями, но и реальным опытом передовых соотечественниц. Н. А. Герцен и М. Л. Огарева, жены неразлучных друзей и политических эмигрантов, проверили на прочность эмансипационные теории в собственных семейных отношениях. Своей самоотверженностью шокировали современников сестры милосердия, главным образом, представительницы дворянских семейств, которые покидали родовые гнезда, чтобы героически спасать раненых во время Крымской войны 1853–1856 годов. Не меньший шок

вызвало и появление в обществе эпатазирующих своим поведением молодых девушек прогрессивных убеждений, которых, с легкой руки Тургенева, называли нигилистками. Они спорили о химии и анатомии, изучали акушерство и естественные науки. Одной из самых известных нигилисток была яркая и взбалмошная А. П. Суслова, участница студенческих манифестаций и акций протеста, вскружившая голову вернувшемуся из сибирской ссылки Ф. М. Достоевскому. На рубеже 1850–1860-х годов А. Н. Filosofova, Н. В. Стасова и М. В. Трубникова организовали сначала «Общество дешевых квартир» – социальный проект, призванный помогать малоимущим, а затем и женскую издательскую артель, участницы которой занимались переводами иностранной литературы.

На этом фоне совершенно закономерным кажется всплеск писательской активности женщин. Конечно, писательницы в русской культуре не появились в середине XIX века, однако именно это время характеризуется мощным притоком женщин в профессию. На рубеже 1840–1850-х годов «выстрелила» Евгения Тур (Е. В. Саллиас-де-Турнемир; 1815–1892) – родная сестра выдающегося русского драматурга А. В. Сухова-Кобылина. Ее ранние произведения, повесть «Ошибка» и роман «Племянница», вызвали одобрительные отзывы А. Н. Островского, который в это время связывал с писательницей особые надежды. В 1850-е же годы под псевдонимом В. Крестовский начинает активно печататься Н. Д. Хвощинская (1821–1889), романы и повести которой заслужили пристальное внимание литературной критики и нескольких поколений русских читателей. Только в советское время ее имя окончательно выпало из литературного пантеона. В конце 1850-х годов с циклом народных рассказов ворвалась в русскую литературу украинская писательница Марко Вовчок (М. А. Вилинская, 1833–1907). Ее тексты наряду с сочинениями молодых разночинцев – Н. В. Успенского, Ф. М. Решетникова – произвели переворот в изображении русских крестьян в эпоху готовящихся реформ.

Среди писательниц Авдотья Яковлевна Панаева (1820–1893) занимала видное место как один из постоянных авторов знаменитого журнала «Современник». Произведения Н. Станицкого – псевдоним Панаевой – регулярно появлялись в этом журнале среди текстов нынешних классиков – И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. Н. Островского, Л. Н. Толстого и других. Современному читателю Панаева, конечно, знакома, но не как беллетристка, а скорее как важная окололитературная фигура. Ее имя прежде всего ассоциируется с Н. А. Некрасовым, а точнее, – с так называемым «панаевским циклом», в котором поэт, как принято считать, реалистически описал трудную, неромантическую сторону любовных отношений. Знают Панаеву и по «Воспоминаниям», написанным на склоне лет: хотя ее мемуары упрекают в неточностях и ошибках, они предметно и осязаемо передают атмосферу литературной жизни середины XIX века и создают фактурные, часто – совсем не парадные, портреты многих знаменитостей.

Ценителям русской литературы памятна и первая повесть Панаевой «Семейство Тальниковых» (1847) – автобиографическая вещь о трудном взрослении девочки из актерской семьи. Произведение заслужило одобрительный отзыв критика В. Г. Белинского, неоспоримого лидера литературы своего времени. Отзывы, впрочем, только устного. Дело в том, что путь «Семейства Тальниковых» к читателям был трудным: в 1848 году вслед за европейскими революциями в России резко ужесточился цензурный контроль, и уже отпечатанный «Иллюстрированный альманах», открывавшийся «Семейством Тальниковых», был запрещен к распространению. У цензоров возникли претензии именно к тексту Панаевой, – они увидели в нем «безнравственность и подрыв родительской власти». Хотя некоторые современники все-таки прочли произведение, запланированный дебют писательницы не состоялся.

Повесть увидела свет только в советское время, – К. И. Чуковский выпустил ее в 1928 году в легендарном издательстве «Academia». Высокое литературное качество текста заставило Чуковского сомневаться в том, что произведение могло быть создано без посторонней помощи. Он полагал, что вдохновителями и литературными наставниками дебютантки были И. И. Панаев и Некрасов. Мысль о творческой несамостоятельности Панаевой красной нитью

проходит и сквозь очерк литературоведа «Жена поэта» (1922). В нем Чуковский ничтоже сумняшеся нивелировал все писательские амбиции Панаевой, а ее роль в истории литературы, по сути, свел к нескольким простым амплуа: музы Некрасова, хозяйки салона, мемуаристки. Именно создателю «Мухи-цокотухи» мы обязаны такому патриархальному и схематичному образу писательницы.

Однако читатели XIX века знали совсем другую Панаеву. Для них Н. Станицкий был не создателем одной сильной повести, зарезанной цензурой, а автором многочисленных рассказов, повестей и романов, деятельным участником литературного процесса, печатавшимся в «Современнике» и высказывающимся по острым современным вопросам. К такому статусу Панаева пришла для себя во многом неожиданно – жизнь готовила ее к другой судьбе.

Панаева родилась в 1820 году в семье Брянских – довольно известной петербургской актерской династии, которая, впрочем, не дала русскому театру звезд первой величины. Отец будущей писательницы был человеком просвещенным, дружил со многими поэтами и драматургами своего времени и страстно любил литературу. Девочка выросла в творческой и читающей среде, где ценили искусство и уважали просвещение.

В соответствии с привычными нормами артистической среды подростковую девочку отдали в Театральное училище, которое готовило не только танцовщиц и хористок для петербургских сцен, но и потенциальных содержанок для столичных офицеров и светских щеголей. Ни танцовщицей, ни дамой полусвета она, к счастью, не стала. Ее быстро выдали замуж. Казалось, теперь ее ждала роль покорной красавицы-жены, если бы не одно обстоятельство: поклонником молодой воспитанницы стал тогда еще совсем молодой и подающий большие надежды литератор – Иван Панаев, добившийся ее руки в 1837 году.

Современному читателю он, скорее всего, памятен по эпизоду «Мастера и Маргариты»: на входе в буфет Дома Грибоедова Бегемот и Коровьев представились Панаевым и Скабичевским, явно рассчитывая, что таких имен «гражданка Софья Павловна» не вспомнит. Однако в 1830–1840-е годы Панаев был одним из самых модных и популярных писателей переходного поколения. К 1837 году Панаев отметился первыми опытами – переводами английских и французских писателей и подражаниями романтической прозе в манере А. Марлинского, но уже совсем скоро он придет к физиологическим очеркам в духе натуральной школы – течения, проложившего русло для русского реализма. В начале 1840-х годов Панаев был хозяином петербургского литературного салона, составлял компиляции по истории французской революции и переводил Робеспьера, Пьера Леру и Жорж Санд для Белинского, которому ранее помог перебраться в Петербург. Кружок Белинского, куда входили А. Герцен, Н. Огарев, Т. Грановский, Н. Кетчер и важным членом которого был Панаев, уже в первой половине 1840-х годов стал самым продвинутым содружеством интеллектуалов, увлеченных немецкой философией и французской социальной мыслью.

Связав свою жизнь с Панаевым, Авдотья Брянская попала в самое свободное и просвещенное столичное сообщество. Пожалуй, в ту эпоху сложно было найти более прогрессивную среду, в которой так уважалось бы право женщины на труд и творчество. Панаева обрела здесь не только поддерживавших ее фрондирующих приятелей-интеллектуалов, но и особый женский круг, включавший Е. Б. Грановскую и М. Л. Огареву. Хотя они не проявили себя в искусстве, они были независимыми женщинами с оригинальными взглядами на современность.

Окружение и интеллектуальный контекст позволяют лучше понять то взвешенное, обдуманное, но весьма радикальное решение семейной коллизии, которое приняла чета Панаевых во второй половине 1840-х годов. В 1843 году в кружке Белинского появился новый человек – деятельный и предприимчивый Некрасов, в котором друзья не сразу разглядели будущего великого поэта. Впрочем, и свой фирменный стиль Некрасов в это время только нащупывал. Ценили молодого человека не за стихи, а за «дельность» – способность без всякой брезгливости взять на себя самую прозаичную сторону литературного труда – издательскую. Именно Некра-

сову вместе с Панаевым в 1846 году доверили руководство новым проектом друзей Белинского – журналом «Современник». За последующие двадцать лет, переживая взлеты и падения, надежды и разочарования, Некрасов сделает этот журнал одним из лучших в России, а сам из «литературной тли» и поденного работника превратится в настоящего богача.

Панаева и Некрасов полюбили друг друга. Люди убежденные и прогрессивные, они считали ниже своего достоинства вступить в тайную любовную связь и стать участниками пошлого светского адюльтера. Для разрешения сложившейся коллизии готовый рецепт, устраивавший как влюбленных, так и законного супруга, был прописан Жорж Санд: открыто обсудить чувства всех участников и, если это для них приемлемо, выработать форму тройственного союза. Подробности жизни писательского любовного треугольника нам неизвестны, но очевидно, что Панаев не считал возможным и необходимым применять свои патриархальные супружеские «права», чтобы удержать жену. Все трое поселились в одной петербургской квартире и, в отличие от большинства современников, пришли к бытовому и психологическому компромиссу.

Союз Панаевых и Некрасова имел не только любовную, но и творческую сторону – пришлось время напряженного журнального труда. В 1848 году умер Белинский, для которого и «под которого» во многом и проектировался новый «Современник». В этот же год во Франции вспыхнуло восстание, и испуганное правительство Николая I, стремясь не допустить распространения революции, резко ужесточило цензуру. Журнал приходилось буквально спасать. Новосозданный Бутурлинский комитет терроризировал издателей, вычеркивая по половине уже собранного номера журнала или кромсая поданную в цензуру книгу, а ведь «Современник» был еще и на особом счету как журнал неблагонадежный и крамольный. Рассчитывать Некрасов и Панаевы могли только на себя. Чтобы иметь возможность заполнять страницы журнала хоть чем-нибудь (а значит, худо-бедно выполнять обязательства перед подписчиками), надо было всегда иметь про запас хотя бы главу совершенно безобидного светского или приключенческого романа, к которому цензура точно не придерется. Такая необходимость заставляла Панаева сочинять романы «Львы в провинции» и «Великая тайна одеваться к лицу» (Панаев был денди и знал толк в моде), а Некрасова с Панаевой писать бесконечные главы «Трех стран света» и «Мертвого озера». Читать эти тексты без специального историко-литературного интереса сегодня вряд ли кому-то захочется, но заметим, что Панаева проявила себя здесь не только как профессионалка, но и как соратница, самозабвенно преданная общему делу. Как именно соавторы делили обязанности, достоверно неизвестно. Советское литературоведение приписывало все удачи «певцу народного горя», а Панаевой отводило роль подмастерья. Однако скорее всего это сильное упрощение, которое отражает общее отношение к творческим способностям писательницы.

Для «Современника» Панаева занималась и другой работой: она читала корректуры очередных номеров и постоянно вела отдел мод – важную рубрику журнала, которая, видимо, обеспечивала существенный прирост подписчиков и подписчиц из состоятельных и светских кругов. (Следы этой работы, кстати, обнаружит и внимательный читатель этой книги: Панаева в подробностях изображает костюмы своих героев и героинь. Однако мода как социальный феномен часто вызывает у писательницы отторжение. Так, сосредоточенно следящие за модными тенденциями героини изображаются не просто как ничтожные светские пустышки, но и как женщины, разбазаривающие наследство или трудовые заработки своих мужей.)

Можно констатировать, что в русской литературе Панаева была самой профессионально вовлеченной в журнальную работу писательницей своего времени.

В этот же трудный период «мрачного семилетия» она начала систематически публиковать собственные произведения. Не только погруженность в литературную жизнь, широкий круг чтения, но и богатый психологический и семейный опыт позволили *Н. Станицкому* сосредоточиться на судьбах женщин, их воспитании, психологии и их роли в обществе XIX века. Первые самостоятельные публикации Панаевой конца 1840-х годов – рассказы «Неосторожное

слово», «Безобразный муж» – еще сильно зависели от отживавших литературных форм вроде светской повести романтического типа, но уже демонстрировали мастеровитость в построении сюжета и фактурной обрисовке характеров. В 1850–1860-е годы талант Панаевой достиг зрелости, а ее творческая манера окончательно сложилась. Ее повести, такие как «Домашний ад» (1857), «Русские в Италии» (1858), «Воздушные замки» (1855), а также романы «Мелочи жизни» (1854), «Роман в петербургском полусвете» (1860), «Женская доля» (1862) внесли вклад в становление русского романа и, шире, реалистической прозы, предложив женскую точку зрения на насущные вопросы современной жизни.

Уже ранние вещи ясно очерчивали эмансипационные установки писательницы. Однако от абстрактного раздражения социальным и гендерным неравенством Панаева легко переходила к вполне адресным претензиям к мужчинам из ее окружения. В самом деле, несмотря на то, что Некрасов, Панаев, А. Дружинин, В. Боткин и другие блестящие интеллектуалы круга «Современника» исповедовали жоржзандистский взгляд на женщину, их личная жизнь была далека от высоких идеалов. Всему светскому Петербургу Панаев был известен как волокита, не пропускавший ни одной юбки. Этого мало: сотрудники передового журнала не только регулярно посещали бордели, но и образовали своего рода либертенский кружок, собрания которого были посвящены сочинению скабрёзных стихов и нередко заканчивались развязными кутежами. Панаева была осведомлена об этой стороне жизни своих друзей и остро чувствовала противоречие между их словами и делами.

Размышляя о ролях мужчин и женщин даже в самом передовом обществе, Панаева в начале 1850-х годов объявила решительную войну мужскому лицемерию. Так, например, в рассказе «Необдуманный шаг» (1850) писательница полемизировала с популярной среди последователей Белинского идеей «спасения падшей женщины» (провозглашенной в том числе и в стихотворении Некрасова «Когда из мрака заблужденья...»). В соответствии с этой идеей просвещенный и свободный мужчина не просто мог, а был обязан взять под опеку женщину более низкого социального статуса – необразованную горожанку или даже обладательницу желтого билета, чтобы спасти и «развить» ее, сделав равной себе полноценной личностью. Если мужчины видели в таком спасении подлинный гуманизм, то скептическая Панаева изобразила катастрофические последствия этого импульсивного порыва как для спасаемой, так и для спасателя. Панаева проницательно заметила, что высокие декларации вступали в противоречие с реальностью, – большинство попыток «развивающих» союзов оканчивались крахом. Критический взгляд Панаевой в определенном смысле предвосхищал сокрушительный разгром проекта спасения женщины в «Записках из подполья» (1864) Достоевского.

Панаева атаковала не только общие идеи и практики своего круга, но и персонально своего любовника, раздражавшего ее своим непростым характером. В рассказе «Капризная женщина» (1850) выбившийся из низов исключительно талантливый скульптор Кордые как будто был списан с Некрасова и выведен взбалмошным манипулятором. Узнается поэт и в некоторых других персонажах прозы Станицкого, в частности, в публикуемых в этой книге романах. Вообще, готовность прямо в тексте – поверх литературных барьеров – предъявить претензии вполне конкретным людям – отличительная черта сочинений писательницы вплоть до ее поздних мемуаров.

Разумеется, прямая памфлетность не исчерпывает особенностей панаевской прозы. Произведения писательницы характеризуются набором своеобразных и устойчивых черт, позволяющих говорить о ее творчестве как о сложноустроенном единстве.

Прежде всего, тексты Панаевой критичны по отношению к современности, а изображенный ею мир фундаментально неблагополучен. Как и большинство русских повестей и романов 1850-х годов ее произведения прямо указывают на источник проблем – это гендерное неравенство, разрушающее жизнь угнетенных и развращающее души угнетателей. Для русского реализма эта проблематика хотя и знакомая, но далеко не первостепенная: классическая лите-

ратура уделяла больше внимания крепостному праву, несправедливому распределению капитала, неограниченной власти. Если для писателей-мужчин зло царило в социальном устройстве и как следствие могло поражать семейные отношения (как, например, в прозе М. Е. Салтыкова или в пьесах Островского), то позиция Панаевой была противоположной: моральная коррозия начинается в семье и затем заражает общество. Из этого следовало, что порок – это не что-то, присущее другим, а то, что непременно есть в тебе самом. Такая установка выводила читателей-мужчин из зоны комфорта и требовала от них раскаяния и саморазвития, а женщин учила распознавать мужские манипуляции и неоправданные претензии на власть. Впрочем, не каждая героиня в прозе Панаевой заслуживает сочувствия. Женщинам Панаева предлагала задуматься, на кого они больше похожи – на нравственных и рефлексивных героинь или на светских пустышек, которые *volens-nolens* становились союзницами угнетателей.

В произведениях писательницы всегда обнаруживается угнетенная женщина и иногда – небольшое количество сочувствующих ей и, как правило, несчастных мужчин. Остальные так или иначе участвуют в определении тех дурных общественных условий, в которых существует симпатичное меньшинство. Подавляющее – в буквальном смысле! – большинство не в состоянии осознать фантомность и никчемность своего существования и воспринимает пустые светские нормы как обязательные для всех. Оно и задает правила светского поведения, и делит людей на «своих» и «чужих», причем последние рискуют оказаться в полной социальной изоляции. Поскольку репутационный урон для «инакомыслящих» огромен, люди света постоянно воспроизводят систему угнетения и неравенства.

Панаева не предлагает простого рецепта изменения текущего положения дел. Например, нельзя просто издать закон, запрещающий унижение женщины. Чтобы симпатичные и задавленные героини (а также редкие герои) обрели счастье, нужно, чтобы исправились нравы. Общественные идеалы писательницы – уважение к просвещению, созидательный труд и полноценная жизнь, свободная от диктата света. Предъявляемые Панаевой требования достаточно просты: женщину следует уважать, ей должен быть предоставлен доступ к участию в хозяйственных делах и интеллектуальным благам, а отношения в паре в идеале должны быть партнерскими и паритетными.

Эти требования Станицкий как рассказчик заявляет открыто и настойчиво, не чураясь прямых этических и социальных суждений, причем интенсивность дидактизма растет от ранних вещей к поздним. Сегодняшнего читателя такое неприкрытое поучение может раздражать, но оно вполне в духе времени и характерно, например, для весьма популярной в России викторианской прозы 1830–1850-х годов. Вместе с тем Панаева, как и англичане, не только дидактична, но и иронична.

Другая существенная черта прозы Панаевой – театральность. Писательнице явно лучше удаются диалоги и мизансцены с участием нескольких персонажей, нежели повествование о событиях. Ее проза порой представляет собой вереницу сцен, объединенных общими персонажами и сюжетом. Источник такой поэтики – в культурном опыте Панаевой, буквально выросшей в театре. Заметим, однако, что сама по себе сценичность, склонность строить рассказ как череду встреч и разговоров не является исключительной особенностью Панаевой. Та же поэтика позднее ляжет в основу романов Достоевского, у которого, однако, сцены станут напряженнее, скандальнее, истеричнее, а предметом обсуждения в диалогах будут «последние вопросы».

Литература 1840–1850-х годов стилистически и содержательно была неоднородна, в ней конкурировало несколько жанровых форм, относящихся к разным литературным эпохам, автономных и герметичных в глазах современников: например, романтическая повесть, очерк натуральной школы, вальтер-скоттовский исторический роман, рассказ из народного быта в духе В. Даля и Д. Григоровича. На фоне письма современников проза Панаевой была лоскутной, – она соединяла несколько, а возможно, и все эти традиции. Беллетристика хорошо осво-

ила характерные черты разных типов письма, но осталась как бы нечувствительна к их распределению. Поэтому от описательной, холодноватой социологии натуральной школы она могла быстро переходить к несколько приторному романтизму и откровенной мелодраматичности. Неспешный викторианский усадебный роман мог соседствовать у нее с русской обличительной прозой, а новая разночинная героиня – с полуэтнографическими очерками из провинциальной жизни. Внимание к механике общественной жизни, к роли сплетен, социальных статусов, светской коммуникации, денежных проблем и т. п., порой соединялось с руссоистским идеализмом. Тогда на сцену выходили «естественные люди», полностью выключенные из общественной реальности России середины XIX века и потому выглядящие искусственно, если не сказочно.

Прозу Станицкого отличает композиционная схематичность вкупе со сложной нарративной системой. Повествование, как правило, ведется от лица мужчины, но больше всего внимания уделяется одной или нескольким героиням, сознание и эмоциональность которых оказываются для рассказчика полностью открытыми. Впрочем, проза Панаевой психологична лишь в той мере, в какой психологизм позволяет объяснить развитие субъектности и социальный путь женщины. Панаева проводит своих героинь через множество эмоциональных испытаний, и они, стремясь к сдержанности, то и дело срываются в отчаянный плач. Вообще, режим надрыва и безвыходного отчаяния в текстах Станицкого также отчасти предвосхищает Достоевского. Мужчины же изображаются со стороны как статичные и не эволюционирующие персонажи, а место психологической нюансировки и интроспекции занимают сатирически-карикатурные характеристики.

Книга, которую читатель держит в руках, – попытка вернуть Панаеву в литературу именно как писательницу со своими недостатками и достоинствами. Само издание этой книги нам видится жестом «восстановления справедливости», хотя важно оговорить, что мы не считаем Панаеву «забытым гением». Отдавая должное ее литературному мастерству, мы лишь хотим углубить и расширить представления о русском реализме, но вовсе не выдвинуть ее в первый ряд.

Пользуясь формулировкой Белинского, нормальная литературная жизнь невозможна без «обыкновенных талантов», которые, собственно, и формируют литературу. При этом само это звание не было для эпохи раннего реализма уничижительным, – в отличие от гениев, на «обыкновенные таланты» можно было положиться и поручить им миссию непосредственного отклика на пульсирующую современность. Именно такую роль Панаева играла в большой литературной истории. Вместе с тем она же важна как редкая в русской литературе женщина-писательница.

Мы публикуем два сильных образца ее прозы 1850–1860-х годов – романы «Мелочи жизни» и «Женская доля».

Первый из этих романов был напечатан в №№ 1–4 «Современника» за 1854 год. Отдельно это произведение не издавалось, что достаточно типично для литературной судьбы Панаевой – лишь редкие ее романы после журнальной публикации выходили в виде книги.

В «Мелочах жизни» изображаются судьбы двух женщин середины XIX века – Елены Александровны и Натальи Григорьевны (жизни женщин показаны отдельно, а затем сведены в финальных главах; этот ход не так уж и тривиален для своего времени и, возможно, предвосхищает поэтику более сложных и совершенных романов Толстого). Они – выпускницы одного московского пансиона для бедных девушек, возглавляемого циничной и лицемерной тапан Ириной Андреевной Полосухиной, которая распоряжается судьбами своих незащищенных воспитанниц к собственной выгоде. Впрочем, как увидит читатель, сама Ирина Андреевна – женщина непростой судьбы. Ее предыстория, приведенная во второй части романа, призвана усложнить образ этой героини, которая по-своему любит Элену, Натали и других своих «резвух», но понимает их счастье слишком меркантильно – как брак с первым подходящим,

«приличным» претендентом. Неудивительно, что браки Элень и Натали оказываются несчастливыми: одну отдают замуж за пустого светского фата Ольховского, другую – за небогатого угрюмого чиновника Белякова.

Развитой и независимой Элень удастся, впрочем, прийти к некоему компромиссу с супругом-волоkitой и отвоевать для себя безрадостную, но все же вполне независимую жизнь. Да и самому Ольховскому следует отдать должное: он знает цену Элень, уважает ее мнение и даже предпринимает попытки понять эту превосходящую его развитием женщину, хотя и высмеивается за уважение к светским правилам, поверхностность и безвольность, чрезмерное внимание к фасонам и цветам костюмов, формам жилетов и галстуков.

Наталия Григорьевна, или Натали, – противоположность Элень. Робкая, забитая пансионной, а затем и семейной жизнью с ревнивым пожилым мужем, Натали покоряется судьбе. Все ее попытки изменить унылую повседневность, найти общий язык с мужем и отвоевать себе право на осмысленную деятельность и досуг проваливаются. Беляков, в отличие от большинства маленьких людей русской литературы середины века, изображен без сочувствия (здесь Панаева касается темы, нашедшей свое развитие у А. Чехова): угнетенный монотонной чиновничьей жизнью, он вносит казенное однообразие в семейную жизнь. Он не в силах понять, что у молодой жены есть другие потребности кроме как вести учет хозяйству и ждать мужа со службы. Беляков строго контролирует жену, воспринимая брак как поединок воли, в котором женщина должна быть обуздана.

Кое в чем Натали и Элень все-таки похожи: героини чувствительны, нравственны, презирают светские условности и имеют схожие представления о долге. Так, несмотря на разочарование в браке, они верны своим мужьям. Кроме того, и Элень, и Натали компенсируют убогость и скуку своей семейной жизни интеллектуальными увлечениями. Натали, например, – страстная читательница. Недостаток опыта и свободы она возмещает, читая Вальтера Скотта, Бальзака и, разумеется, Жорж Санд. (Привычку к чтению она приобрела вовсе не в пансионе, как можно было бы подумать, а уже в браке. Напротив, «заведение» к интеллектуальному развитию воспитанниц равнодушно, поскольку призвано готовить светских и вместе с тем преданных жен, цель которых – удовлетворить потребности и прихоти будущих мужей, украсить собой гостиную, вскружить головы воздыхателям, менять платья, болтать вздор по-французски и т. д. Успех такой жены в свете улучшал репутацию мужа и иногда открывал ему новые карьерные перспективы. Развитая духовная жизнь в «Мелочах жизни» – не следствие женского воспитания, а персональное и на первый взгляд случайное личное достижение женщины.)

Уважение к литературе, причастность к художественной культуре, симпатии к интеллектуальному труду, разумеется, роднят обеих героинь с их создательницей. Впрочем, внимательный читатель отметит большую близость Панаевой к независимой и дерзкой Элень, чем к угнетенной и молчаливой Натали. Именно поэтому в окружении Элень гораздо легче увидеть людей из круга «Современника». Так, в Серже – рано перегоревшем вундеркинде, отдавшем имение в руки жены и с головой ушедшем в прожекторство и в модную тогда гомеопатию, – угадывается Огарев. Некоторыми чертами Белинского наделяются сразу два героя – умерший от чахотки благородный художник Анатолий и развитый молодой человек Павел Брусков, задушенный несчастливой семейной жизнью. Наконец, в Ольховском можно увидеть черты Панаева: оба – светские люди, модники, любители приударить за красавицами.

У романа Панаевой есть и отчетливые литературные источники. Во-первых, сюжетная линия брака Натали развивается в русле ранних текстов о несчастных обитателях Петербурга – тяжелого, мрачного и давящего города. Само пространство столичных глав соотносится с прозой Достоевского, Гоголя и авторов натуральной школы. Для героев Панаевой петербургские комнаты и углы – это уродливое, неудобное жилье, где человек обречен на одиночество и постоянно открыт постороннему взгляду соседей или прислуги, где одновременно пусто и тесно. Однако если русская литература относится к обитателям этих неудобных квартир – глав-

ным образом, мелким служащим и их семьям – сочувственно, то Панаева делает шаг в сторону и изображает петербургского чиновника с другой, теневой, стороны.

Во-вторых, влияние традиции чувствуется и в любовных конфликтах «Мелочей жизни», однако Панаева также смещает ее в значимых нюансах. В русской литературе замужняя женщина часто любит другого мужчину, но отказывает ему, делая выбор в пользу супружеского долга. Такое решение принимают и пушкинская Татьяна Ларина, и лермонтовская Вера, и герценовская Любонька Круциферская. Во всех этих случаях героини отвергают «героев своего времени», так называемых «лишних людей» – сложных и одаренных мужчин, несущих, однако, только смерть и несчастье другим людям. Есть такой герой и в «Мелочах жизни»: приятель Ольховского Нестужев, домогающийся любви Элень, отдаленно напоминает лермонтовского Печорина. Нестужев дерзок, циничен и смел, он настойчиво идет к своей цели, не останавливаясь перед препятствиями и не смущаясь даже презрением возлюбленной. В романе Панаевой, однако, такой герой обречен на поражение, причем не только светское, но и моральное. Чем сильнее он добивается Элень, тем больше падает в глазах героини, видящей его порочность и моральную нечистоплотность.

Панаевские женщины же, подобно пушкинской Татьяне (а также ее преемницам в русских романах и повестях), остаются верны мужьям. В конфликте чувства и долга они занимают строгую ригористическую позицию. Однако Элень не только сама подавляет незаконное чувство, но и помогает справиться с ним своей уязвимой и менее искушенной подруге Натали. Эта бескорыстная и даже жертвенная позиция героини модифицирует традицию и добавляет в нее идею специфической сестринской солидарности.

Готовность героинь Панаевой защищать свой брак отнюдь не означает, что брак как таковой недоступен для критики. Напротив, он и есть главная причина несчастья. Но если Жорж Санд отсюда шла к радикальному отрицанию традиционной семьи, то идеал Панаевой был вовсе не в отказе от замужества и не в свободе любовных отношений, но заключался в такой семье, которой было бы возвращено ее первоначальное содержание, в семье как союзе свободно выбравших друг друга и духовно родственных сердец. Такой брак – не изображенный, но подразумеваемый в «Мелочах жизни» – не только сделал бы счастливыми мужа и жену, но и избавил бы от светской мишуры, защитил бы от пустого прожигания жизни и бездушного, уродующего воспитания детей. Пока же перемены не произойдут, случайные обстоятельства, «мелочи жизни» будут систематически отравлять жизнь.

Второй публикуемый в этом издании роман Панаевой – «Женская доля» – появился в 1862 году («Современник», №№ 1–5). Композиция этой вещи напоминает композицию «Мелочей жизни»: в центре текста – две женские судьбы, причем одна откровенно трагичная, а вторая – драматичная по обстоятельствам, но жизнеутверждающая в моральном плане. Однако таким самым общим структурным сходством преемственность между текстами ограничивается. Как увидит читатель, авторская позиция в «Женской доле» выражена резче и агрессивнее, текст полон пространных и страстных проповедей-отступлений, обличающих те стороны общественного устройства, которые сильнее всего отравляют жизнь женщинам. Трансформировалась и поэтика.

Изменения во многом объясняются как биографическими, так и историческими обстоятельствами. За эти годы Панаева многое испытала: она прожила наиболее трудное время отношений с Некрасовым и Панаевым, прошла сквозь изнурительное судебное разбирательство по так называемому огаревскому делу, в котором писательнице досталась незавидная роль обвиняемой, похоронила Н. Добролюбова, с которым она близко дружила и племянников которого по-матерински опекала. Все это время Панаева продолжала писать и отточила писательское мастерство в еще нескольких крупных произведениях.

За эти годы русская литература расцвела и украсилась многими шедеврами. Во второй половине 1850-х – начале 1860-х годов вышли остросоциальные романы Тургенева – «Рудин»,

«Накануне», «Отцы и дети», «Обломов» Гончарова, «Тысяча душ» А. Ф. Писемского. После периода гонений вернулись в литературу Салтыков и Достоевский. Первый написал скандальные «Губернские очерки», а второй – сенсационные «Записки из Мертвого дома», в которых впервые в русской литературе описал жизнь каторжан. Прогрели на всю Россию «Севастопольские очерки» Толстого.

Редакция «Современника» тоже прожила самый драматичный период. Прежний круг друзей Некрасова и Панаева распался, и на смену либералам 1840-х годов пришли люди нового поколения и другой социальной формации – разночинцы Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Эти люди с их фанатичной верой в прогресс, в возможность быстрого и справедливого социального переустройства впечатлили Панаеву. Она дружески к ним привязалась и поверила в их идеалы. «Новые люди» импонировали писательнице своей последовательной честностью: в отличие от предшественников, в интимном кругу и на людях Добролюбов и Чернышевский оставались равны себе, всегда говорили, что думали, и не опускались до светского лицемерия и литературных дрызг.

И последнее, но главное: изменилось само время! Кончилась провальная Крымская война, умер ненавистный либералам император Николай I. С воцарением Александра II общество почувствовало свободу, цензура на время практически была отменена, а интеллектуалы бросились вовсю обсуждать грядущие реформы. Наконец, незадолго до публикации «Женской доли» пало крепостное право – самая постыдная и архаичная сторона русской жизни имперской эпохи.

Общий дух свободы, как мы уже писали, вдохновил женщин на борьбу за свои права. К этой борьбе подключились и «новые люди». Так, в программном романе «Что делать?» (1863) арестованный к этому времени Чернышевский защищал и обосновывал права женщин на личную свободу и экономическую самостоятельность. Освободившаяся от гнета семьи и социальных предрассудков Вера Павловна показала себя не только самостоятельной личностью, но и успешной предпринимательницей.

На таком общественном и культурном фоне более дерзкий, настойчивый и требовательный голос Панаевой в защиту женщин звучал вполне закономерно. И эмансипационная программа, и ставка на «новых людей», вроде тех, что изображены в романах Тургенева и Чернышевского, заявлены в «Женской доле», но заявлены особым образом: сама по себе критика мужского лицемерия, уже знакомая читателю по «Мелочам жизни», никуда не делась, но по контрасту с изображенными в романе людьми новых убеждений моральный портрет угнетателей старого разлива выглядит еще более отталкивающим.

Роман распадается на две части, которые формально связаны сквозным персонажем – Софьей Григорьевной. В первой части брак приводит ее в дом Петра Васильевича – развращенного лицемера и «художнической натуры», как его всерьез характеризуют окружающие и иронически – рассказчик. Переехав в поместье мужа, Софья сталкивается с его сластолюбивыми и двуличными друзьями. Они считают себя прогрессивными людьми и воспитывают Софью, в частности, пытаясь привить ей свои «свободные» взгляды на супружескую верность.

Мир поместья открывается героине постепенно. Выясняется, что у мужа есть ребенок от горничной, а его друзей связывают запутанные сексуальные отношения. В доме все подчинено воле хозяина – дедушки, терроризирующего всех обитателей поместья. Он изображен капризным манипулятором в духе Фомы Опискина из «Села Степанчикова и его обитателей» Достоевского. Софья все лучше осознает, что оказалась в мире развратников, прикрывающих похотливость и жадность словами о прогрессе, гуманности и равноправии полов.

Травмирующий опыт приводит Софью – в отличие от Натали и Элень из «Мелочей жизни» – не только к разочарованию в браке, но и к разрыву с мужем. Вторая часть романа застаёт героиню в трудных отношениях с другим мужчиной, но и этот союз, свободный от прогрессистского пустозвонства, приносит ей только новые мучения.

Если вопросы семьи, свободы и долга женщины раскрываются в первой части романа, то вторая часть – по контрасту – представляет собой апологию молодых интеллектуалов, опрокинувших старые порядки. В тексте появляются новые персонажи – Анна Васильевна, незаконнорожденная и пораженная в правах юная девушка, и Александр Снегов, молодой человек, выпускник Петербургского университета, литератор радикальных убеждений, уже успевший за них пострадать. Любви Анны Васильевны настойчиво добиваются разные претенденты, но она выбирает решительного, свободного и честного Снегова.

К большинству мужчин Панаева предъявляет одну и ту же претензию – участие в угнетении женщины. В этом отношении Петр Васильевич и его друзья со всеми их фразами и вакхическими удовольствиями мало чем отличаются от настырных соблазнителей, ищущих любовных утех даже на почтовой станции. В определенном смысле первые даже хуже, потому что пытаются риторически оправдать банальную похоть: женщина якобы должна не просто терпеть домогательства и измены, но еще и благодарить мужчину за эти «уроки». Именно так Панаева видела уже описанную нами теорию и практику «развивающих отношений», характерную для сверстников Панаевой – людей 1840-х годов.

Право мужчины развивать кого бы то ни было не только высмеивается, но и назидательно отрицается рассказчиком. Парадоксальным образом, риторика развития приводит к тому, что в обществе «развратные женщины» оказываются едва ли не на лучшем счету, чем порядочные: «Лоретка или лицемерная барыня всегда найдут себе защиту в обществе, которое лелеет их, покровительствует им и гордится ими, как самой лучшей стороной своей моральной цивилизации!» С точки зрения писательницы, именно мужчины тормозят эмансипацию. В самом деле, развивающие союзы всегда исходили из презумпции нравственного превосходства того, кто развивает. Именно это превосходство Панаева и отрицает в своем решительном заявлении: «Пока сами мужчины не сделаются нравственнее – никакая эмансипация женщин невозможна».

Стоит обратить внимание на одну характерную особенность художественного мира «Женской доли». Концентрация зла – даже несмотря на положительных героев и страстные проповеди рассказчика – оставляет исключительно гнетущее впечатление от романа. Хотя поэтика зловещей сатиры в известной степени была в духе реализма, в русской литературе до «Женской доли» найдется мало произведений со столь безнадежным портретом общества. Однако обличительная смелость Панаевой очень скоро будет перекрыта еще более мрачными историями из сочинений Достоевского и «Господ Головлевых» Салтыкова. Эти произведения стерли из культурной памяти безнадежный мрак панаевского романа.

Вместе с тем забвению способствовал и сам роман. Если Салтыков и Достоевский понимали inferнальность как свойство человеческой природы, то у Панаевой жуткое в человеке скорее функционально. Оно необходимо, чтобы на его фоне была лучше видна светлая сторона реальности. В этом и был ее просчет: писательница, как кажется, не до конца осознала, что жуть и мрак вышли у нее фактурнее, чем оптимистичный, но пунктирный и угловатый финал романа (по всей вероятности, ее подкосила внезапная трагедия – смерть Панаева в феврале 1862 года, после которой она так и не нашла в себе сил сосредоточиться на литературе). Скомканый финал, впрочем, не компрометирует «Женскую долю» – похожие осечки встречаются и в великих книгах. Например, в «Обломове» попытки Гончарова противопоставить главному герою делового и прагматичного Штольца привели к художественной неудаче: Штолец, как отметили почти все критики, получился искусственным, ходульным и конспективным персонажем.

После публикации «Женской доли» Панаева надолго уходит из литературы. Этот шаг было принято объяснять биографическими причинами – смертью Панаева, разрывом с Некрасовым, новым браком с сотрудником редакции журнала А. Ф. Головачевым. Однако у писательницы были и другие, более веские, причины порвать с литературой.

Дело в том, что в отличие от «Мелочей жизни», в целом благосклонно принятых литературной критикой («Отечественные записки», 1854, №№ 5–6; «Москвитянин», 1854, № 3, № 13), «Женская доля» была разгромлена. Причем уничтожающими рецензиями откликнулись как раз те интеллектуалы, мнения которых для Панаевой должны были быть исключительно важны, – «наследник Добролюбова» Д. И. Писарев («Русское слово», 1864, № 8) и Н. Д. Хвощинская – успешная женщина в литературе («Отечественные записки», 1862, № 5).

Писарев в пух и прах разнес эмансипационную программу Панаевой, которая казалась критику наивной и половинчатой. По Писареву, залог освобождения женщины – не в переутверждении верности, а в отказе от ревности как состояния. Вместо переживаний, страданий и слез женщине следовало бы сосредоточиться на полезной и положительной деятельности, вовсе не связанной с семейными отношениями. Образцы такой деятельности Писарев находил в романе Чернышевского «Что делать?», оставляющем «Женскую долю» далеко позади по социальной радикальности, и удивлялся соседству двух романов в одном журнале.

Хвощинская же сочла искусственным художественный мир романа. Концентрация зла и страданий показалась ей совершенно неправдоподобной, а персонажи – чрезмерно карикатурными и потому «нехудожественными». Хотя Хвощинская с сочувствием отнеслась к волнующей Панаеву проблеме, саму эмансипационную программу писательницы она проигнорировала.

Сложно вообразить разочарование и обиду Панаевой, не понравившейся ни «новым людям», ни прогрессивным женщинам! А ведь именно им она посвятила свой писательский труд...

Панаева вернется в литературу только в конце жизни, после долгой паузы, занятой семейной жизнью. Впереди у нее в чем-то еще более сложная судьба: бедность, одиночество, литературная работа ради заработка, но и – блестящие «Воспоминания». О поздней прозе писательницы известно совсем мало, она еще ждет своих читателей и исследователей. Пока же важно осмыслить ее романы периода «Современника», без которых история женского движения в России и русской литературы периода реализма будет неполной.

* * *

В настоящем издании тексты романов Панаевой печатаются по журнальным публикациям. Орфография и пунктуация приведены к современным нормам. В исключительных случаях сохранено авторское написание слов. Текст снабжен минимальным подстрочным комментарием, в котором раскрываются источники цитат и поясняются отдельные культурные реалии. В конце книги читатель найдет небольшой словарь редких и устаревших слов, использованных в романах.

Павел Успенский (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), Андрей Федотов (Университет МГУ-ППИ, Шэньчжэнь)

Мелочи жизни. Роман

Елизавете Богдановне Грановской¹

¹ Е. Б. Грановская (1824–1857) – жена выдающегося историка, видного западника, профессора Московского университета Т. Н. Грановского (1813–1855). Грановская была близкой подругой Панаевой. Писательница видела в ней идеал современной женщины. В отличие от Н. А. Герцен, другой женщины западнического кружка, которую Панаева недолюбливала, Грановская не пыталась выступать образцом эмансипированной женщины, была скромна, отличалась преданностью мужу и глубокой образованностью. О Грановской см. в «Воспоминаниях» Панаевой.

Часть первая

Пролог

Летним вечером 18**, в назначенный час, пароход отправлялся из Петергофа в Петербург. Публики собралось уже много; густой дым – признак скорого отплытия – валил из трубы, но к пристани все еще спешил народ.

В числе самых последних вошел на пароход молодой белокурый мужчина с модным, рассеянно-презрительным выражением лица, одетый по-летнему, необыкновенно вычурно. Окинув надменным взглядом кругом скамеек, он фамильярно кивнул головой молодому человеку, очень скромному как по наружности, так и по туалету, и, подойдя к нему, сказал:

– А, здравствуй, Анатоль!

– Здравствуй, Борис! – отвечал Анатоль.

– Где ты пропадаешь? – смотря в сторону, спросил небрежно Борис.

– Как где? В Петербурге.

– Отчего тебя нигде не видать?

– Очень просто: я занят.

– Все своим рисованьем?

– Да.

– Хочешь, я тебе доставлю работу? – покровительным тоном спросил эффектный молодой человек.

– Сделай милость! Только не портреты писать с дам.

– А я именно это и хотел тебе предложить. Очень хорошенькая!

– Благодарю. Пока есть у меня кой-какие средства, я постараюсь лишить себя этого удовольствия.

– Скажи, пожалуйста, отчего ты не едешь в Италию? – садясь возле Анатоля, спросил уже внимательнее белокурый молодой человек.

– Я думаю, ты знаешь, почему я не еду: мы, кажется, шесть лет сидели на одной скамейке.

– Разве ты не можешь достать у кого-нибудь взаймы?

– Кто даст, узнав, что я не имею состояния; притом, если б и поверили, я сам мучился бы, потому что я могу возратить не раньше, как через несколько лет, и то не наверно.

– Да, трудно нынче занимать деньги, – задумчиво заметил Борис. – Представь, – продолжал он с досадою, – когда я выходил в отставку, месяца два искал тысячи рублей – и насилу нашел.

– Вот видишь, ты насилу нашел, с твоей наружностью! Помнишь, мы прозвали тебя графом?

– Это ты все придумывал такие названия.

– Ну а где мне, с наружностью странствующего музыканта, как ты меня прозвал, искать взаймы?

– Ни одного лица порядочного нет! Какая странная публика сегодня! – не слушая своего соседа, заметил Борис и зевнул насильственно.

– Ты хочешь сказать, что нет никого из твоих светских знакомых, – возразил ему приятель. – Вот подле меня сидит девушка, очень молоденькая, – удивительное личико!

– Кто? Эта грязная?

– Тише! Она может услышать.

– Да что это – горничная?

– Нет, кажется, одна из тех несчастных, которые носят название дальней родственницы, – вероятно, сирота и бедная. Вот видишь против нас пожилую даму и двух наряженных дочерей; она принадлежит к их семейству.

В эту минуту подошла к девушке, о которой говорили молодые люди, наряженная барышня и сказала по-французски:

– *Элень*, не забыла ли ты уложить мои книги?

– Нет; все, что было на этажерке, я все уложила, и то, что вы мне дали, – отвечала по-французски девушка, отличным выговором и мелодичным голосом.

– Как хорошо она говорит по-французски! – с удивлением заметил Борис, – и, встав, он без церемонии поглядел ей прямо в лицо, потом снова сел на свое место и сказал: – Да, она очень недурна, но так одета, что даже смешно.

– Скорее жалко! Я давно приехал сюда и наблюдал за ней: она, бедненькая, чувствует, кажется, очень свое положение, конфузится всех, закрывается своим дырявым, крошечным зонтиком, который даже не защищает ее от солнца. Если ее не стыдятся в таком виде вести в публику, что же дома! Я не знаю, какое наказание придумал бы я таким людям! – с раздражительностью сказал Анатоль своему товарищу.

– Ты все такой же смешной, Анатоль, и раздражительный! Ну что тебе за дело до нее? – возразил Борис, вытягивая ноги и любясь на свои сапоги.

– А ты тоже мало изменился, Борис, – иронически отвечал Анатоль.

Качка была очень порядочная: пожилая дама ушла с дочерьми в каюту.

– На вас качка не действует? – спросил девушку Анатоль.

– Нет, – повернув голову, отвечала девушка, вся вспыхнув.

– Охота тебе говорить с ней! Так одета! – шептал Борис своему соседу.

– Ничего; я не боюсь, чтоб мои знакомые смеялись надо мной.

Борис, улыбнувшись, стал прохаживаться по пароходу, величаво оглядывая публику и бросая по временам покровительные взгляды на бедную девушку, с которою Анатоль продолжал говорить.

– Вы живете в Петергофе?

– Да, и съезжаем совсем.

– Нравится вам петергофский сад?

Девушка смешалась.

– Да, но я его мало знаю, – отвечала она.

Борис очень бесцеремонно прервал их разговор каким-то незначительным вопросом, но рассчитанным на эффект.

Девушка беспрерывно меняла положение своих рук, потому что на перчатках ее не было ни одного целого пальца, и если она хотела их скрыть, то выставлялись голые локти из огромных прорешин полинялого бурнуса, шитого на полную женщину. Напротив, соломенная измятая шляпка была с девочки лет шести. Маленькие ее ножки были обуты в ботинки, все истасканные и уже едва державшиеся на ногах. Платье было муслин-де-лен, светленькое, рисунок на котором от мытья совершенно уничтожился, кое-где только виднелись цветочки да полоски.

Когда пароход подъехал к пристани, пожилая дама с дочерьми вышла из каюты и подзвала к себе девушку, которой было дано три больших дорожных мешка.

Анатоль и Борис столкнулись лицом к лицу с пожилой дамой у выхода и, по случаю тесноты, стояли несколько минут.

– Как можно являться в публику с девушкой, одетой хуже нищей! – сказал Анатоль довольно громко. – Эти люди не стыдятся даже общего мнения; хороши должны быть они дома!

– Ты хочешь сделать историю, – пугливо шепнул Борис своему товарищу.

– Нет, я хочу как-нибудь оскорбить эту почтенную и величавую особу, – отвечал вполголоса Анатоль.

Борис быстро отскочил назад, и, толкнув виновницу гневной выходки его друга, он даже не извинился перед ней. Пожилая дама сердито смотрела на Анатоля, который презрительно оглядывал с ног до головы не только ее, но даже и дочерей.

Борис был очень доволен, что извозчики, как саранча, тучей хлынули на приехавших и разлучили его приятеля с пожилой дамой. Он сел на дрожки и, отъехав два шага, остановил кучера и закричал:

– Анатоль, садись со мной!

Анатоль сел. Борис, смеясь, сказал:

– Я, право, боялся, чтоб ты не наделал глупостей бог знает из какой девочки.

– Да не возмутительно ли видеть...

– Ты где живешь?

– Далеко.

– Все равно, я заеду к тебе.

– Хорошо.

– Ты, смотри, не вздумай отыскивать ее, спасать: ты ведь способен на эту глупость. Помнишь, как ты вздумал на улице защищать шарманщицу от грубостей пьяного извозчика и какая вышла длинная история...

– Я скорее понимаю такие глупости, чем равнодушие, с каким многие смотрят на возмутительные вещи, которые делаются перед их глазами.

– Ага! В мой огород камешки бросать! – заметил Борис.

– Не смейся же надо мной; я раздражен, да притом странствующий музыкант всегда будет различного мнения с графом.

– Несмотря на твои колкости, я скажу тебе откровенно, что я всегда тебя любил, дорожил твоей дружбой.

– Дружба между нами невозможна, особенно теперь, когда один идет по высоким подмосткам, а другой – по колено в грязи.

– Ну к чему ты преувеличиваешь свое положение? Ты стоишь выше многих как по своему таланту, так и по энергии характера. Ты трудишься, ты со временем будешь знаменитый художник.

– Если не умру с голоду.

– У тебя есть столько товарищей, которые не допустят до этого!

Анатоль иронически улыбнулся и сказал:

– Да, может быть, если я пойду обивать их пороги.

– Скажи, пожалуйста, неужели положение этой девушки тебя так раздражило? Я боюсь, что ты сделаешься очень скоро жертвою своего чувствительного сердца.

– Очень легко, если сойду с ума.

– Отчего так?

– Потому что надо быть сумасшедшим, чтоб жениться, не имея никаких определенных средств.

– Не средства – характер твой страшен: ты непременно будешь самым несносным мужем: так раздражителен!

– Сказать по правде, трудно угадать, кто из нас будет порядочным мужем. Мне кажется, я не гожусь для семейной жизни потому, что слишком впечатлителен, а ты уж слишком равнодушен.

Дрожки остановились перед домом, и разговор двух товарищей прервался.

Эти молодые люди воспитывались в одном высшем заведении Петербурга и, окончив курс, разошлись по причине очень простой: Борис имел изрядное состояние, друг же его ровно никакого, да притом еще страсть к живописи, которой он пожертвовал служебной карьерой.

Квартира Анатоля была мала; принадлежности к рисованию, картины, бюсты и эстампы скрывали бедность мебелировки. Гость внимательно обозрел все и уселся у столика, где было маленькое бритвенное зеркало, единственное во всей квартире. Рассматривая себя со всех сторон, гость сказал:

– Анатолий, почему ты ко мне никогда не зайдешь?

– Почему ты ко мне никогда не заходил? – спросил равнодушно Анатолий.

Гость повернул быстро голову к Анатолию и глядел на него с каким-то удивлением и после уже сказал, как бы рассуждая сам с собой:

– Странная вещь! Как все неестественно устраивается в Петербурге! Например, сколько нас, товарищей, несколько лет сряду жили вместе, кажется, дружно, интересовались каждым шагом друг друга, скучали, если на день кто уходил в лазарет, и вдруг в одно утро разбредлись мы все по Петербургу и забыли даже о существовании своих товарищей. Если и встречаемся, то холодно киваем головой друг другу, не пожав даже руки.

– Не мы первые и не мы последние, встречаясь друг с другом после шестилетней товарищеской жизни, избегаем кланяться, – грустно улыбаясь, сказал Анатолий.

Гость нахмурился и с горячностью возразил:

– Ты преувеличиваешь! Можно, встретясь, не заметить своего товарища; но...

– Напрасно ты горячишься, – холодно прервал Анатолий. – Я хочу сказать про себя: сколько раз, встречая тебя или нашего товарища Нестужева, я избегал вам кланяться.

– Почему? – вспыхнув, спросил гость.

– Потому что я видел вас в толпе светской молодежи, жадной до всякого случая уязвить новопришельцев в их круг. Меня многие из них знают как ремесленника, как поденщика. И я, встретясь с вами, протянул бы вам руку и сказал бы *ты!!!*

Анатолий начал говорить спокойно, но под конец своей речи пришел в сильное волнение, сообщившееся и его гостю, который с упреком воскликнул:

– Анатолий! Ты слишком нас презираешь! Если мы лишены таланта, если мы даром бременем землю, все же мы, так же, как и ты, можем иметь гордость и не лишены сердца. Я знаю, что светская жизнь более или менее пуста, груба, несмотря на всю утонченность свою... Да! Это образ жизни самый нелепый, даже бессмысленный! Я бросил все, вышел в отставку и хочу...

Гость остановился, как бы потеряв нить своей мысли, хотя на его лице оставалось выражение довольно трагическое.

– Что же ты хочешь делать? Попад раз в эту мутную реку, трудно противиться течению: оно против воли умчит тебя далеко и под конец выкинет на какой-нибудь пустынный остров изувеченным.

– Не быть же мне чиновником! Разве эта жизнь лучше? Она даже не может вдохновить таких блистательных сравнений, какое ты сейчас сделал, – с усмешкой сказал Борис.

– Если бы я не имел с детства глупой страсти к рисованию, право, был бы чиновником.

– Полно, Анатолий! В тебе слишком много поэзии!

– Но зато нет поместий. И потому я сделался бы чиновником и, уверен, несколько не был бы хуже вас, добивающихся диплома светского человека.

– Неужели ты думаешь, что у меня такая пустая цель в жизни?

– Не знаю; но до сих пор ты и наш товарищ Нестужев идете к этой цели с большим рвением.

– Спасибо! Ты меня поставил на одну доску с самым сухим, напыщенным и злым человеком!

– С Нестужевым? Нестужев, верно, добьется, чего ищет, а ты хлопчешь попусту!

– Ты уже считаешь меня за дрянь! – мрачно произнес гость и обиженно прибавил: – Даже Нестужев вырос в твоих глазах; а прежде ты его презирал.

– Ты не дал мне договорить, почему Нестужев имеет преимущество, пробиваясь в высший круг...

– Что ж, деньги, что ли? Состояние его не ротшильдовское, чтоб все двери сами собой раскрылись перед ним. Родословная его также не особенно блистательна. У него есть дядя... Завел какую-то торговлю и имя свое отдал на вывеску... От него отворачиваются порядочные люди.

– Вероятно, племянник первый... Но не в том дело... Не деньги его, а отсутствие сердца, которое в тебе есть, также и добрые начала, увлекающие тебя, – вот где ты должен уступить черствому от рождения Нестужеву.

Мрачное лицо гостя просияло. Хозяин дома продолжал несколько проповедующим голосом:

– Да, Борис, мне жаль тебя: ты погибнешь от пустоты той жизни, которую избрал. Ты еще молод; спеши изменить свои привычки и избрать какую-нибудь полезную цель.

Гость растрогался и кающим голосом сказал:

– Я давно понял всю пустоту моей жизни, и, право, Анатоль, я могу еще быть чем-нибудь. Я не так очерствел, чтоб дружеские твои слова не подействовали на меня сильно... Спасибо, Анатоль! Вижу, что ты меня все так же любишь, как и прежде!

– У тебя доброе сердце; ты только слаб характером, – тоже расчувствовавшись, произнес Анатоль и с уверенностью продолжал: – Не будь между нами этого Мефистофеля Нестужева, ты никогда не избрал бы такой пустой цели: он уязвил твое детское самолюбие, и ты, по слабости характера, принес страшные жертвы, чтоб только уничтожить его!

Анатоль ошибался в одном: он преувеличивал жертвы, принесенные Борисом Федорычем, чтоб достичь диплома наружно светского человека. Этот диплом достается легко: надо иметь всегда хорошо сшитое платье, чистые перчатки, лоснящуюся шляпу, не показываться в публике с мужчинами и дамами, как слишком богато и вычурно, так и слишком небрежно и бедно одетыми, появляться на всех возможных гуляньях, в театрах если не сидеть в первом ряду, то непременно хоть в антракте протереться к оркестру, смело лорнировать бельэтаж и бенуар, фамильярно кивать головой и улыбаться в литерные ложи, где сидят разряженные и одинокие дамы, – одинокие потому, что принадлежащие к таким ложам старуха или ребенок обыкновенно походят на автоматов, – приноравливать свое появление или удаление из театра так, чтоб обратить на себя общее внимание; знать все аристократические экипажи и их ливреи, родословную первых аристократических фамилий, их родство между собой, дни, в которые бывают у них парадные балы (впрочем, последнее легко: подъезд, обиваемый парусиной, заранее извещает о предстоящем бале); толковать о гласных сплетнях и происшествиях высшего круга; являться поздно в маскарад; иметь мину скучающую или сонную; стоять или сидеть там, где постоянно бывает центр истинно светской молодежи; после маскарада ужинать в модной ресторации, если с маской, то непременно с француженкой, которую заставлять прыгать и громко петь, чтоб ужинающие в соседних комнатах знали, что такой-то ужинает с француженкой... Словом, следовать моде безусловно не только в покрое платья, но даже в движении руки при встрече на улице с знакомыми. Действуя так, вы достигнете результатов самых удовлетворительных: даже опытный глаз иногда на улице смешает вас с людьми истинно светскими; мелкие молодые чиновники, помешанные на шике, будут вам завидовать, и – главное – сердце ваше этим невинным путем дойдет в короткое время до такой пустоты и сухости, что вы будете равнодушно проходить мимо человека, умирающего с голоду: вы бы и помогли ему, да вам придется завтра явиться на Невском в тусклых перчатках. Выбор невозможен! Страх нарушить условия светскости доводит таких людей до изумительной копеечной расчетливости во всем, что не касается их лично. И если кому-нибудь суждено зависеть от них, то эта черта принимает характер трагический. Говорят, свет полон ничтожества, и это светское ничтожество все-таки лучше всякого другого, потому что имеет хоть приличную внешность. Так – для публики, но

посмотрите их дома... Этот страх делает их не только черствыми, но и тупыми, убивает в них ум, чувство изящного, вкус. Вот сидит в театре молодой человек. Вдруг лицо его вспыхнуло, он весь покачнулся на своем стуле; вы думаете, голос певицы проник в его сердце... Ошибаетесь! В эту самую минуту он вспомнил, что забыл спросить имя извозчика кареты, которую взял на вечер. Как он позовет его, выходя из театра? Извозчиком? Но тогда узнают, что у него нет своего экипажа. А в таком случае не стоило тратить последних денег на наем кареты. Вот какая дума покачнула его на кресле. В таких волнениях проходит вся его внутренняя жизнь, и эти волнения неизбежно оставляют следы на его лице, которое, кроме общего всем таким господам модного выражения (мода существует не на один покрой платья, но и на выражение лица), имеет еще другое, не вдруг уловимое, но подметив которое, вы прочтете ничтожество, эгоизм, тщеславие и страдание – жалкое страдание мелкого и трусливого самолюбия! В Петербурге подобных наружно светских людей такое же количество, как мух летом в душной комнате, где много съедомого. Впрочем, без них были бы пусты публичные гулянья; они являются всюду, как по обязанности; они то же, что кор-де-балет на сцене; без них истинно светская молодежь не имела бы такого эффекта. Откуда наполняется кор-де-балет и куда исчезают выбывшие – тайна, никого не интересующая. Одно можно сказать, что закулисная домашняя жизнь таких господ иногда бывает комически трагическая. Но чтоб достичь диплома истинно светского человека, не имея от рождения никаких других прав, кроме сильной охоты да изрядного состояния, – о, тогда нужно многим пожертвовать, тяжкому испытанию подвергнуть себя! Для этого нужно своего рода призвание. Юноша, добывающийся чести попасть в очарованный круг избранных! Ты должен отречься от всякого занятия, обогащающего ум и сердце! Затопчи в грязь перо и книгу! Брось навсегда мысль о сохранении своего личного достоинства, отдайся весь пустому тщеславию! Интересы твои отныне – лошади, карты, злословие; удовольствия – самые неестественные. Если ты встретишь на улице друга детства, не спеши в его раскрытые объятия; посмотри: он в шинели и фуражке, а будущие друзья твои идут неподалеку – оттолкни друга детства холодным поклоном и резкими словами оледени на губах его вопрос искреннего участия! Судьба наделила тебя существом нежным и любящим, которое дышит только тобой; но это нежное существо в чепчике со старомодными лентами, без перчаток – спрячь же его подальше, выдай хоть за няньку, если, по несчастью, кто-нибудь из светских друзей увидит у тебя твою мать! Не трогайся никаким горем, не возмущайся несправедливостью; пусть гибнут вокруг тебя жертвы зависти, грубого расчета, пустого тщеславия – не защищай слабого! Напротив, примкни к сильным, для которых у тебя всегда должны быть готовы лесть, самоунижение! Сердце твое может любить и жаждать любви взаимной, но берегись необдуманно обнаруживать его порывы: карманы твои будут тщательно обшарены старухами величавой и строгой наружности, и горе, если они окажутся не полны: при первой попытке искать взаимности своему чувству, ты будешь осмеян, как дерзкий нищий! Если тебе протягивает руку молодая, прекрасная женщина и безобразная старуха, ни минуты не колеблись в выборе; не пугайся сморщенной, дрожащей руки старухи: она сильнее пышной руки молодой женщины – опора будет надежнее!.. И когда, наконец, с необыкновенной твердостью, с вечной, лихорадочной деятельностью, выберешься ты на видное место, – посмотри на себя, несчастный! Где твоя молодость? Ты – скелет, прикрытый модным платьем; силы твои исчезли, глаза потускли, сердце высохло – тебе все надоело! С утратой благородных порывов сердца умерло в тебе сострадание. Ты вечно озлоблен; ты, стольким пожертвовавший и добившийся такой ничтожной награды, с ожесточением видишь в других молодость, силу, энергию – и скелет в модном платье делается первым бичом кандидатов светскости, идущих по стопам его!

Борис Федорыч, разумеется, не мог выдержать такого строгого экзамена: гордость, ограниченные средства остановили его домогательства. Он даже смеялся над людьми, к которым сам принадлежал, – смеялся довольно зло, но только до Невского проспекта. Это требует объяснения. Невский проспект играет в жизни многих петербургских молодых людей важную роль:

кто не видит их на Невском проспекте, тот их не знает – тот может даже впасть в грубую ошибку. С некоторых пор не все пораженные светскостью пребывают в постоянном довольстве своей сферой; мода внесла критику в самую светскость, она велит и в ней находить недостатки, пустоту, скуку; мало того: некоторые избранные пошли еще далее: они уже поговаривают, что порядочному человеку не должно быть чуждо ничто человеческое – так шагнула мода! И теперь, встретив иного господина в обществе, не вдруг догадаетесь: модное платье или модные идеи взял он напрокат? И тут-то Невский проспект лучшая поверка. Этот самый господин, которому все надоело, который все презирает, который так зло смеется над пустотою, праздностью, тщеславием света, который еще на Вознесенском проспекте кротко дал дорогу озабоченному ремесленнику, заметив, что чуть не завидует его деятельной жизни, – посмотрите его на Невском: он, ко всему равнодушный, не находит несколько странным предупредить поклонны молодежи высшего круга и уклоняться встречи с людьми незначительными; он, утверждавший, что плоские, однообразные петербургские физиономии наводят на него сплин, что взгляд его с любовью отдыхает на простом и умном лице русского мужика, – посмотрите, какой взгляд бросил он на этого смиренного работника, не успевшего дать ему дорогу, – он даже, кажется, толкнул его в плечо!.. Итак, это разочарованный, это бич модного света, это друг ремесленника, это герой, это человек – до Невского проспекта. У него есть ум, ирония, благородная гордость, самостоятельность – до Невского проспекта. На Невском он теряет все и разом становится в разряд тех, которым имя легион. Гуляя по Невскому, Борис Федорыч делался на несколько часов самым отчаянным денди. Впрочем, натуры вроде Бориса Федорыча не подлежат строгому приговору... Это – одна из жертв эпидемических болезней, какими постоянно бывает заражено общество. В сию минуту каждый человек, из самых строгих к самому себе, сознается, что дело и слово слишком развелись. Надо иметь необыкновенную силу воли, особенные условия в жизни, чтоб не подвергнуться разногласию в своих убеждениях и действиях. Сознание, которого так долго жаждали в прошедшем обществе, в нашем дошло до такого упадка, что всякая вера потеряна в его искренность. И точно, какой теперь юноша с гордостью не сознается в своих самых непростительных слабостях и дурных поступках! Но это смелое раскаяние не ограждает его от повторения их. На все есть мода в обществе, даже на такие вещи, на которые, казалось бы, моды не должно быть. Вот почему сознание не мешало Борису Федорычу вести пустую и праздную жизнь: утром – продолжительный туалет, гулянье по Невскому, пятиминутные визиты; обед в модной ресторации – довольно скудный, потому что средства не позволяли каждый день возбуждать зависть, громко требуя дорогие порции; вечером – театр и трактирный ужин с приятелями, а затем все остальное время посвящалось обдумыванию, как бы поэффектнее да подешевле жить на белом свете. Так живут многие, утешаясь безвредностью подобной жизни, и воображая, что ее так же легко оставить, как легко было привыкать к ней. Ошибаетесь, господа! В этом красивом парке, где все расчищено и подстрижено, есть глубокие канавы, полные грязи и только снаружи прикрытые изумрудной зеленью; перескакивая их, вы неизбежно забрызгаетесь грязью, и этой грязи постепенно столько на вас накопится, что смыть ее потребуются усилия невероятные... И скорей вас найдут мертвыми в этих канавах, чем выберетесь вы из этого волшебного парка!

Глава I

В одной из немощеных московских улиц сквозь раскрытые окна небольшого деревянного дома слышалось странное, дребезжащее пение каких-то гимнов. Главная комната была низенькая, широкая, с бесчисленным множеством окон. Таковы всегда залы, образуемые фасадом, в старинных московских деревянных домах; а там пойдут маленькие комнатки – то уже, то шире. Стены залы были выкрашены желтой краской, потолок разрисован, полы некрашенные; мебели в ней было очень много, так что достало бы меблировать еще такую же комнату. Множество

фарфоровых ваз, с надписями и без надписей, расставленных всюду: по столам, в шкафу со стеклами, на шкафах, даже на фортепианах, придавали зале вид фарфоровой лавки.

За фортепианами, очень старинными, сидела низенькая, толстая старуха, похожая на воздушный шар, когда он готовится подняться. Она имела полное желтое лицо и такие блестящие глаза, что надо было дивиться, как могла она сохранить в них столько огня, тогда как небольшие губы ее съежились и впали за недостатком зубов. Одета она была в пестрое шерстяное платье и черную гроднаплевую мантилью с торчащими фалбалами; манишка была величины невероятной, и два острые конца, туго накрахмаленные, как клыки носорога, торчали на плечах старушки. Морщинистый лоб ее был прикрыт черным бархатом с пришитыми к нему мелкими, коротенькими пуклями, расчесанными в колечки; чепчик кружевной, с фалбалой, был отягчен бантами из дешевых желтых лент. Старушка брала аккорды своими толстыми, синеватыми и сморщенными руками с короткими пальцами в кольцах и по временам издавала дребезжащие звуки.

Возле нее сидела высокая женщина, лет под пятьдесят, здорового сложения, с цветом лица очень ярким и с густыми бровями. Все черты лица этой особы были крупны и топорны. По огромному лоснящемуся ее лбу были наклеены черные волосы с лоском; пробор был косой у самого уха, за которым, как и за его товарищем, висело по крошечному колечку волос вроде пиявок. Жидкая коса была заткнута стальной гребенкой. Белое канифасное платье обрисовывало плотные плечи; пестрый кушак с огромной бронзовой пряжкой с камнями стягивал талию. Положив одну руку на спинку кресел, на которых сидела шарообразная старушка, а другой – делая такт по фортепианам, эта особа закатывала свои масляные черные глаза и пела басом.

По комнате прохаживалось третье лицо – худая старушка с лицом морщинистым и белым, как алебастр, с провалившимися во впадины глазами, в парике каштанового цвета, с пуклями в виде маленьких бочонков; на лбу висела страза от фероньерки, укрепленной на самом проборе парика. Чепчик не уступал по множеству бантов чепцу шарообразной старухи, сидевшей за фортепианами; на голове все дрожало, потому что она поминутно качалась, так что страза на лбу старушонки походила на маятник у часов. Эта особа была одета в распашной шелковый капот темного цвета и желтую истасканную шаль; руки ее были украшены кольцами и перстнями, а на ее горле, состоящем из двух толстых жил, сиял стразовый фермуар с бусами. Она держала золотую табакерку в руках; золотом вышитый ридикюль с кистями висел на одном из ее костлявых локтей. Она торопливо прохаживалась взад и вперед, потряхивая головой, и пела более трелями.

Наконец, в зале находилось еще четвертое лицо, которое также ходило и пело: маленькая, смуглая женщина лет сорока, со стриженными волосами, в рыжей сетке, с черной некогда кисточкой, которая болталась у одного виска. Эта женщина имела прежалкое выражение лица – может быть, по причине бедности, которую резко изобличал ее туалет; вообще, нетрудно было угадать в ней одно из тех лиц, которые существуют благодеяниями добрых людей. Ее тоненький и пискливый голос громче и тверже всех раздавался в зале.

Посреди самого жаркого пения вошла в залу девушка лет семнадцати, с личиком удивительно хорошеньким. Одета она была просто, но мило; каждая складка на ее платье дышала грацией, а лицо выражало много ума. За ней вошло несколько девочек разного возраста, преимущественно маленьких, одетых в камлотовые зеленые платья, черные перелинки и белые перелинки. Пение не остановилось: дети уселись чинно на стулья, а девушка подошла к фортепианам.

– Что, набегались? – спросила шарообразная старуха, не переставая аккомпанировать пению.

– Да, мы играли в горелки в саду, – отвечала девушка.

– Да пой! – сказала расхаживающая старушка, оправленная в стразы и золото.

И шарообразная запела в нос.

Когда окончилось пение, шарообразная старушка вдруг быстро пробежала по клавишам своими толстыми, коротенькими пальцами и, взяв несколько аккордов, с гордостью встала со стула и сказала девушке, стоявшей у фортепьян:

– Да, я была ученица Фильда², я готовилась не для мадамы!.. Хе, хе, хе!.. Как меня вчера назвал помещик... Помнишь?

И шарообразная старушка, тяжело вздохнув, продолжала, обращаясь к особе с косым пробором:

– Ну, Авдотья Ивановна, спойте-ка нам что-нибудь теперь.

– Что-то не в голосе, Ирина Андреевна!

– Ну, полно, полно, душоночка, пой! – сказала расхаживающая старушка.

– Ей-богу, не могу, Наталья Николаевна!

Но в то же время душоночка села за фортепьяны, взяла аккорд и басом запела с необыкновенным чувством:

«Звук унылый фортепьяно...»³

Остальные старушки тихо подтягивали ей; на их глазах блистали слезы, они вздыхали тяжело. Верно, им не раз в жизни приходилось петь этот романс! Только что певица пришла в одушевление, как была прервана восклицанием одной девочки:

– Ах, коляска!

Это восклицание было очень естественно, потому что переулочек принадлежал к таким, посреди которых каждый домовладелец мог разложить стол для карт в твердой уверенности, что никто не потревожит его. Старушки бросились к окнам, дети тоже. Одна Авдотья Ивановна осталась на своем месте, продолжая петь; две слезы катились по ярким щекам певицы и оставляли на них полосы.

– Наверно, меня спрашивают, меня! – впопыхах сказала Ирина Андреевна и торопливо пошла в другую комнату, говоря молодой девушке: – Друг мой Леночка, ты прими; я пока приоденусь. Дети, наверх!

Все в зале пришло в движение. Дети, толкая друг друга, кинулись к двери, из которой пришли; взрослые тоже спешили удалиться.

Девушка осталась одна и, заглянув в зеркало, поправила манишку и кушак, стягивавший ее стройную талию. В это время с шумом раскрылась дверь, и в залу вошел молодой человек, одетый, как картина. Он поклонился слегка девушке, вспыхнувшей, как зарево, и сказал по-французски:

– Могу я видеть m-me...

И он посмотрел на адрес, который держал в руках, и потом уже прибавил:

– Да, Полосухина...

– Не угодно ли вам подождать; я скажу ей, – отвечала, тоже по-французски, девушка и вышла.

Гость подошел к зеркалу, поправил волосы и не без самодовольствия осмотрел себя.

– Не угодно ли войти, – сказала девушка, возвратясь в залу и указывая на дверь гостиной.

Гость поклонился ей и пристально посмотрел на нее. Она снова покраснела и быстро отвернулась.

² Джон Филд (1782–1837) – ирландский пианист, большую часть жизни провел в России. Был популярным педагогом, учителем М. И. Глинки, А. И. Дюбюка, А. Н. Верстовского, А. Конского и др. Один из основоположников жанра ноктюрна.

³ Героиня Панаевой поет безнадежно устаревший к изображаемому времени романс, отличающийся архаичным языком, сентиментальностью и религиозным настроением: «Удали ты на минуту / Грусть душевну от меня! / Я пью чашу скорби люту, / Пожалею хоть ты меня! <...> Судья правый, Бог хранитель! / Внемли сердца томный глас, / Вод и суши Сотворитель! / Взгляни с трона Ты в сей час». Автор романса неизвестен, текст, по-видимому, был написан в конце XVIII в.; музыку к нему сочинил композитор И. Кеслер (1773–1799). Полный текст романса см.: Новейший избранный песенник, или Собрание новейших, употребительнейших лучших авторов всякого рода песен. М.: В Университетской Типографии, 1814. С. 13–15.

Ирина Андреевна сидела на высоком диване, окруженная стеною шитых подушек. Вся перемена ее туалета состояла в бархатной мантилье. Она привстала на высокую скамейку, стоявшую под ее коротенькими ножками, и, придав своему лицу любезное выражение, с легким наклоном головы, спросила по-французски:

– С кем имею честь говорить?

– Я по рекомендации Софьи Павловны; моя фамилия – Ольховский.

– Ах, добрая, милая Софья Павловна!.. Вы коротко ее знаете? Как ее здоровье? Это очаровательная женщина, образованная, светская... Я очень рада, *mr.* Ольховский, что имею честь с вами познакомиться и поговорить об одной из самых любимых моих знакомых!

Ирина Андреевна говорила скоро, несколько захлебываясь. Указав на стул, она прибавила:

– Прошу садиться.

И села сама.

– Я к вам с просьбой, – садясь, сказал Ольховский.

– Все, что угодно... Я к услугам милой Софьи Павловны... Ну, что ее муж? Между нами будь сказано: их не пара⁴!

И Ирина Андреевна лукаво улыбнулась.

– Она, кажется, счастлива!

– О, да. Это женщина со строгими правилами; а правила – самая необходимая вещь в воспитании. Да, это – счастье всей жизни. Я вот детям моим стараюсь внушить то же.

При этом она понюхала табак.

– Я к вам приехал спросить, не будете ли вы так добры взять одну сироту, очень дальнюю родственницу Софьи Павловны; она сама бы приехала, да собирается в деревню и у ней много хлопот.

– Сиротка? Ах, потерять попечение и нежные ласки родителей! Ужасно, ужасно! – с грустью воскликнула Ирина Андреевна и, тяжело вздохнув, продолжала: – Хоть не по моим летам брать новые хлопоты, но я не могу отказать доброй Софье Павловне. К тому же сирота, а я посвятила себя сироточкам. Меня утешает это занятие. Вы видели девицу в зале?

– Да.

– Это сиротка тоже! Я ее воспитала и так люблю, так люблю, как родную дочь. Я уж такая привязчивая... Леночка! Поди сюда, мой друг.

Девушка вошла в гостиную. (Это была комната с трех окон, но до того узкая, что между столом у дивана и окнами оставалось расстояния не более аршина. Стены были увешаны ученическими рисунками, букетами цветов, а над диваном висел портрет старика в военном мундире, с красной лентой через плечо. Чашек, стаканов, яиц и разных фарфоровых вещей и здесь, как в зале, было множество.)

– Вот-с! Вот моя сиротка! Леночка! *Mr.* Ольховский. Ты ведь видала у меня Софью Павловну, *belle-fam*⁵ такую: она вот рекомендует мне его.

Леночка молча ответила на поклон гостя и села у окна.

– Вы житель нашей доброй, радушной Москвы? – спросила Ирина Андреевна, уже по-русски.

– Нет, я петербургский и только на лето приехал в Москву.

– Сознайтесь, что в нашей Москве как-то теплее, а в вашем Петербурге – у-у-у... это север, север!

– Ну, разница небольшая.

⁴ Допустимая языковая норма XIX в.; имеется в виду, что они не пара.

⁵ От *фр.* *belle-femme* – красивая, привлекательная женщина.

– Нет, не говорите! Там нет этого радушия, как здесь. Жители в Москве все как будто друзья. Я вот пойду в церковь, все так рады мне – и я счастлива. Как хотите, а добрые дела ценятся людьми здесь!

Ольховский ничего не отвечал и поглядывал на Леночку, которая смотрела в окно.

– Вы видите перед собой талант и большой! Вот этот букет – это ее работы.

И Ирина Андреевна указала на стену.

– Мамап! – вспыхнув, воскликнула Леночка.

– Полно, полно! Анатоль – один из первых учителей рисования, и тот в восторге от твоей работы!

– А как его фамилия? – поспешно спросил гость.

– Скворцов. Его сестра у меня воспитывалась... Ах, как он любит меня! Я, говорит, мамап... Меня все зовут мамап, и, верно, если бы покорооче меня узнали, вы тоже не называли бы меня моим именем, а потеплее, потеплее. Впрочем, вы житель севера...

– Помилуйте, да Скворцов воспитывался со мной вместе, он тоже петербургский, или северный! – смеясь, сказал Ольховский.

– Он с вами воспитывался? – заметила Леночка.

– Да, он мой приятель.

– Какой славный! Какой прекрасный! Ах, какой бесподобный человек! – воскликнула Ирина Андреевна. – Как любит сестру! Он всем жертвует для нее. Вы не знаете его сестру?

– Нет.

Ирина Андреевна разинула было рот, как Леночка сказала:

– Мамап, Анатоль Петрович!

– А-а-а, мой голубчик, поди сюда, твоя мамап тебе радость приготовила.

И Ирина Андреевна опять привстала на скамейку.

Вошел Анатоль Петрович, поздоровался с хозяйкой дома и с Леночкой и, увидав Ольховского, воскликнул:

– Борис! Это какими судьбами?

– Анатоль!

И Ольховский с чувством пожал руку Анатолю, который обнял его.

– Друзья, друзья! – глядя на Леночку, сказала с умилением Ирина Андреевна и набила нос табаком.

– Извините, мы так давно не видались, – сказал Борис.

– С мамап нечего стыдиться. Я своего Анатоля люблю, как сына... Да, как родного... Да и он меня также любит. Нет вечера, чтоб не забежал. Плутиска, скрытен... У-у-у!

Ирина Андреевна погрозила Анатолю своим коротеньким и толстым пальцем.

Борис, поговорив с своим приятелем и пообещав завтра же заехать к нему, раскланялся с хозяйкой дома, которая при этом случае опять стала на скамейку и сказала по-французски:

– Мне теперь вдвойне приятно, что имела честь с вами познакомиться. Вы друг моему Анатолю и хороший знакомый многоуважаемой Софьи Павловны.

Борис Федорыч поклонился и невольно сделал движение, чтоб поддержать Ирину Андреевну: ему показалось, что она упала, – но она только сошла со скамейки.

– По-московски, дайте, дайте вашу руку! – воскликнула Ирина Андреевна, приписав его движение желанию пожать ей руку. – Прошу засвидетельствовать мое почтение Софье Павловне и ее мужу. Скажите, что я завтра пришлю ей маленькую записочку о предмете вашего посещения.

Борис поклонился Леночке и, пожав руку Анатолю, вышел. Ирина Андреевна, набивая нос табаком, проводила его до передней, без умолку говоря. По возвращении в залу она громко вздохнула, как бы сильно утомленная, но тотчас же сказала:

– Какой красавец! Должно быть, богат, образован?

И она обратилась с вопрошающим взглядом к Анатолю; но он молчал, стоя с Леночкой у окна.

Гости, обращенные в бегство появлением Ольховского, возвратились в залу, кинулись к окну и принялись восхищаться его коляской, его небрежной позой, его рукой, обтянутой в отличную перчатку и живописно помещенной на коленях. Он приподнял шляпу Леночке и фамильярно кивнул головой Анатолю. Ирина Андреевна на все отвечала дружескими поклонами из другого окна.

– Скажи, пожалуйста, Анатоль, – приставала она, – твой друг богат, должно быть, и хорошей фамилии? Не дядя ли ему наш Ольховский, у которого такая почтенная, барская наружность?

– Право, не знаю ни того, ни другого.

– Как! Твой друг и ты...

– То есть товарищ бывший; впрочем, я его любил: он добрый малый.

– Это видно! Как он обрадовался тебе, как глаза его заблестали... Ах какие глаза у него плутовские!

– Зачем он приезжал? А? Зачем? – трясая головой, спрашивала Наталья Николаевна хозяйку дома.

– Он родственник кому-нибудь из ваших детей? – перебила Авдотья Ивановна.

– Нет, нет! – с таинственностью отвечала Ирина Андреевна.

Наталья Николаевна открыла свою золотую табакерку и попотчевала Ирину Андреевну, чтоб задобрить ее. Ирина Андреевна не преминула воспользоваться угощением и, набивая себе нос, сказала:

– Лучше сядем-ка за преферанс.

– Секрет, что ли, какой, что ты молчишь? – с жаром воскликнула Наталья Николаевна и сердито спрятала табакерку.

– Ну, и рассердилась! Он приезжал спрашивать совета, кому отдать одну сиротку; его прислала ко мне Софья Павловна.

– Ну? – произнесла Авдотья Ивановна, наострив уши.

– Ну? И, увидав меня, стал упрашивать, чтоб я взяла сиротку; с вашим, говорит, сердцем, с вашими правилами...

– Смотри, не разыграй ворону с сыром⁶... Хе, хе, хе! – сказала язвительно Наталья Николаевна.

– Что я за дура! – с сердцем воскликнула Ирина Андреевна. – Я напишу Софье Павловне все условия. Если угодно, пусть присылает сиротку; а если заупрямится, как хочет!

Между тем, пожилая особа в сеточке, поставив в гостиной ломберный стол, вошла в залу и торжественно произнесла:

– Готово!

– Ты, Парасковьюшка, поди-ка да вели нам чайку дать! – сказала ей Ирина Андреевна. – Ну-с, готово; милости просим!

Уселись за стол. Ирина Андреевна поместилась на диван, и, тасуя карты, которые были почти так же дряхлы, как играющие, крикнула в залу:

– Анатоль, Анатоль, голубчик! Карточек мне пора новых!

– Извольте-с, – отвечал Анатоль, оставшийся с Леночкой в зале.

– Да ты поди сюда! Твоя татап хочет посмотреть на тебя! – сдавая карты, говорила Ирина Андреевна.

– Засдалась, – смешивая карты, сердито перебила ее Наталья Николаевна.

⁶ Героиня имеет в виду распространенный басенный сюжет, русскому читателю известный по басне И. А. Крылова «Ворона и лисица» (1807).

– Верно, туз бубен ко мне упал. Ну, так и есть. Принеси ты своей маман карточек, – продолжала она, обращаясь к вошедшему Анатолю. – Ведь мы наизусть все карты знаем!

И, вновь сдавая, она решительным голосом объявила своим партнеркам:

– Как угодно, если туз придет ко мне, я больше не пересдам.

– Хорошо, хорошо! – отвечала Наталья Николаевна, смотря пристально на руки сдававшей и трясая головой, отчего все стразы, надетые на ней, искрились, а стразовый маятник быстро качался из стороны в сторону.

Леночка также вошла в гостиную, села у стола и принялась вязать кошелек. Анатолий поместился возле нее.

Напились чаю, который Ирина Андреевна кушала из огромной, чуть ли не суповой чашки; жуя проворно размоченный хлеб своими деснами, она без умолку говорила. Парасковьюшка, державшаяся постоянно в уголку, поминутно приносила и уносила чашки. Когда окончился преферанс, старушки долго рассчитывались и спорили. Выигрыш состоял из 50 копеек меди. Но эта сумма, выплаченная из шитого золотом ридикюля Натальи Николаевны, очень ее раздражила; уходя, она сухо простилась с хозяйкой и другими дамами и ворчала, что никогда не будет с ними играть.

– Парасковьюшка, проводи Наталью Николаевну! – сказала хозяйка дома, раскладывая пасьянс.

– Мы пойдем вместе; я тоже домой, – сказала Авдотья Ивановна.

И гости ушли в сопровождении Парасковьюшки.

Ирина Андреевна, раскладывая карты, только и говорила о Борисе Федорыче и вывела-таки все, что знал о нем неразговорчивый Анатолий. Наконец Анатолий ушел, Леночка стала позевывать и, встав, сказала:

– Маман, я пойду наверх: мне надо к завтраму приготовить урок.

– Ну, поди, Христос с тобою! Да пойдешь мимо, пошли ко мне Самсона, – сказала Ирина Андреевна, крестя и целуя в лоб Леночку, которая поцеловала у ней руку.

Ирина Андреевна продолжала раскладывать пасьянс и говорить сама с собой, не замечая появившейся в дверях сонной фигуры небольшого роста, со всклокоченными, стоящими дыбом волосами, с небритой бородой, в длинном зеленом сюртуке, босого.

– Что угодно-с? – проговорила наконец сонная фигура.

– А вот что, Самсон, – нюхая табак, сказала Ирина Андреевна, – встань завтра пораньше, отнеси письмо Софье Павловне... Вот я напишу... Потом зайди к Ивану Матвеечу, скажи, что, мол, давно не были, так барыня изволит беспокоиться о вашем здоровье; потом к Лизавете Прокофьевне: поздравь от меня с именинами малютку. Потом... К кому бишь еще я хотела?... Да, на Трубу⁷; спроси, когда ждут? Потом, потом... Ну да я pošлю тебя после обеда еще!

Самсон равнодушно слушал: верно, не первый раз доводилось ему исходить в утро из конца в конец всю Москву.

– Да смотри не забудь; намени такую кашу наделал: перемешал записки.

– Да ведь одна будет?

– Одна.

Самсон с свободным вздохом удалился в залу, уселся на стуле у дверей и заснул, пока Ирина Андреевна писала письмо Софье Павловне, в котором за похвалами доброте и любезности Бориса Федорыча не забыла включить, чтоб сиротка принесла с собой серебряную столовую и чайную ложку, подсвечник медный, подушку, тюфяк и других мелочей, разумеется, не в счет годовой платы за воспитанье и кушанье. При этой работе присутствовала безмолвная Парасковьюшка, которая, проводив дам, поместилась у стола, вздыхала, крестила свой рот и снимала по временам со свечей. Наконец Ирина Андреевна, кончив письмо, стала расклады-

⁷ Народное название Трубной площади.

вать пасьянс по обыкновению своему, без умолку говоря о новом своем знакомстве, о Софье Павловне. Парасковьюшка делала замечания, если она чего-нибудь не доглядывала. Наконец часа в два шарообразная старушка ушла спать. Парасковьюшка прибрала карты, осмотрела, все ли окна заперты, разостлала старый ватный салопик в углу залы и, помолясь Богу, свернулась клубком. В темной комнате долго еще слышались тяжкие и кроткие вздохи, сопровождаемые словами: «Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи!»

Так окончился день в деревянном домике, душою которого была Ирина Андреевна Полоухина. Эта почтенная женщина с незапамятных времен посвятила себя сироткам, хотя, как она сама говорила: «Я не готовилась в мадамы: во мне течет бухаровская кровь⁸, я горда, как он!» – и при этом указывала на портрет пожилого мужчины в мундире и ленте, висевший у ней в гостиной над диваном. К какому обществу она принадлежала, какое положение прежде занимала, никто определенно не знал. Ее прошедшее было покрыто непроницаемой тайной: если она в жару разговора и касалась его, то как-то пугливо останавливалась, вздыхала, бранила французов как единственную причину своих несчастий и спешила перейти к сожжению Москвы, причем красноречие немедленно к ней возвращалось. Добродушное самохвальство, постоянные толки о теплоте своего сердца, о своих благодеяниях, о сострадании к сироткам приводили в умиление многих знакомых Ирины Андреевны, и она пользовалась титулом доброй старушки, готовой в огонь и в воду для ближнего. Учениц своих она иначе не называла, как «близкие моему сердцу малютки», о сиротках говорила всегда со слезами на глазах, но брала с них такие же деньги. Для родителей на ее старческих губах всегда была готова самая смелая лесть: «Добра, кротка, как ангел, – кажется, вся в свою мамашу или в папашу». Каждой матери она под секретом смиренно каялась: «Чувствую, что дурно поступаю, но никак не могу: пристрастна к вашей дочери! Сами виноваты: зачем воспитали такую! Я мать им, а не мадам, – продолжала она, – меня поняли мои малютки, и мне стоит взглянуть на них холодно, чтоб привести их к полнейшему раскаянию». Подобными фразами Ирина Андреевна обезоруживала взыскательность родителей, заставляя их мириться с упущениями, каких было довольно в пансионе: по праву материнской любви к ученицам, она мало заботилась об удобном их помещении, о столе, даже о чистоте и порядке в доме. Обязанности экономки, кастелянши, блюстительницы нравов вне классов – все это исполняла старая, сварливая горничная; сама же Ирина Андреевна предпочитала, сидя у себя в гостиной, беседовать с гостями. Впрочем, это ей не мешало знать все, что делалось в доме: укладывая ее спать и при утреннем туалете, горничная доносила ей о всех происшествиях дня, и, основываясь на этих докладах, Ирина Андреевна производила суд и расправу, причем обыкновенно плакала и с эффектом прощала в заключение виновных учениц. Должность гувернантки исполняла глухая, старая немка. Впрочем, даже эта глухота выставлялась родителям с выгодной стороны: «Малютки приучаются говорить внятно и развивают свои легкие. О, я забочусь о них, как мать, а любовь матери находчива». В сущности, классной дамой была Леночка, как самая старшая и образованная ученица, знавшая языки еще до вступления в пансион. Но, несмотря на эту патриархальность, в пансионе все шло как по маслу; не было никаких серьезных шалостей, школьных приключений – даже скара-латина и другие детские болезни не заглядывали в пансион, чем Ирина Андреевна особенно гордилась, приписывая это исключительно своей материнской заботливости.

Пока мы довольно сказали об Ирине Андреевне и можем обратиться к ее приятельницам.

Была в жизни Ирины Андреевны катастрофа, в которую все ее бросили, кроме Парасковьюшки, валявшейся теперь на полу в зале. В это трагическое время Парасковьюшка не только ухаживала за ней в болезни, но даже лечила и кормила ее на свои деньги, хоть сама была небо-

⁸ Возможно, героиня указывает на то, что ее родственником был Н. И. Бухаров (1799–1862), генерал-майор, кавалер многих орденов, приятель Пушкина, друг Лермонтова, адресат его поэтических посланий. Пользовался репутацией удалого гусара.

гата: развалившийся деревянный домишко составлял в ту пору все ее достояние. Она родилась в роскоши и готовилась к богатству; родители оставили ей значительный капитал, но, спасая брата, который страдал ее, что вот-вот застрелится, добрая Парасковьюшка очень скоро обнищала. Ирина Андреевна пользовалась уже остатками улетевшего богатства также не совсем деликатно: по праву дружбы все ценное, что оставалось у Парасковьюшки, перешло к ней в руки. Но когда наступила очередь совершенной бедности для щедрой Парасковьюшки, не так поступила Ирина Андреевна: другу и благотельнице не нашлось лучшего места, как на полу в зале, и первый обносок, подаренный Парасковьюшке, навсегда поставил между ними преграду к равенству. Ирина Андреевна приняла со своей благотельницей покровительный тон, который никого не удивил, не исключая, кажется, самой Парасковьюшки: эта кроткая душа слушала ежедневно самохвальные дифирамбы шарообразной старушки, по крайней мере, с таким же добродушием, как и посторонние. Таким образом, с течением времени Парасковьюшка сделалась даже как бы новым лавром в венке, украшавшем чело благотельной Ирины Андреевны. Так иногда за победной колесницей счастливца, на долю которого выпал успех, смиренно бредет тот, кому действительно принадлежит победа; никто его не замечает, не хочет знать, и он только вносит свою частицу блеска и тесноты в чужое торжество.

Впрочем, несправедливо было бы назвать Ирину Андреевну неспособной к благодарности: помыкая Парасковьюшкой, она в то же время называла «другом души» Наталью Николаевну, старушку, оправленную в стразу и золото, которая не вверила ей гроша без больших процентов и верного залога. Этот друг души был не что иное, как ростовщик в юбке.

Все вещи на ней, не исключая башмаков, принадлежали просрочившим должникам. Страсть к деньгам проявилась в ней еще в цветущей молодости, и вот каким образом: ее покойный муж, чиновник, не лишенный способности приобретать, купил дом, как водится, на имя жены. Впоследствии он попался в каком-то деле, которое требовало денег – иначе угрожала неминуемая беда! Он хотел заложить дом, но оказалось неожиданное препятствие: Наталья Николаевна объявила, что не желает закладывать *свой* дом. Ни просьбы, ни угрозы не помогли: она осталась непреклонною и с твердостью перенесла весть о ссылке мужа! «Страдалица! Иметь такое нежное сердце и так рано овдоветь – это ужасно! В дружбе она ищет утешения своему одинокому сердцу, и я могу сказать смело, что она нашла во мне истинного друга души!» Так описывала Ирина Андреевна посторонним своего ростовщика, что, впрочем, не мешало ей изображать совершенно другими красками ту же Наталью Николаевну перед людьми близкими, перед молчаливой Парасковьюшкой или Авдотьей Ивановной.

Авдотья Ивановна, учительница музыки, представляла совершенный контраст с Натальей Николаевной: уже не в первой молодости она познакомилась с каким-то уланом, которому отдала взаймы весь свой небольшой капитал не только без процентов и залога, но даже с прибавлением своего пылкого сердца. Улан обещал возвратить капитал и принять сердце через месяц. Но вот уже семнадцать лет, подобно спящей красавице, старая дева напрасно ждет своего обожателя. Снискивая пропитание уроками музыки, она не теряет уверенности, что он явится, и ни о чем более не думает, как о своем приданом; у ней все готово: белье, венчалное платье, цветы на голову, кровать, даже феска для будущего мужа. Недостает только самого мужа; но он непременно явится, – разве только пал в битве или томится в плену!

Глава II

На другое же утро на диване в гостиной сидела девочка лет семи, вся в слезах, обложенная куклами и конфетами. Ирина Андреевна утешала ее, говоря, что она заменит ей мать, что будет ее любить; но ребенок, верно, не понимал таких утешительных обещаний, продолжал плакать и призывал свою няньку, которая, спрятавшись за дверь, плакала навзрыд. Пришла Леночка и стала разговаривать с ребенком, рассказывать сказки, потом повела ее в сад, и

через час они обе с покрасневшими щеками возвратились в гостиную, где Ирина Андреевна торопливо кушала конфеты, выбирая которые помягче и советуя в то же время няньке благодарить Бога и радоваться, что ее барышня попала в добрые руки.

– Да, я посвятила себя сиротам, – говорила она. – Я мать им, настоящая мать. Надо, надо добро делать ближним.

Леночка возилась с сироткой целый день, и только при ней девочка не плакала и не звала свою няню. Эта няня перед уходом домой кинулась в ноги Леночке и молила любить и беречь ее воспитанницу.

– Матушка родная, сжался над сиротой; никого у ней не осталось; и меня-то от нее отымают; люби ее, не давай в обиду.

– Хорошо, хорошо, встань! – говорила Леночка.

– Вот возьми на сохранение денежек; если ей захочется полакомиться, купи ей. Меня завтра везут в деревню. Родная, не оставь!

И нянька вновь растянулась на полу и так рыдала, что Леночка тоже расплакалась и долго была грустна.

Через несколько дней приехал Борис Федорыч – навестить сиротку. Ирина Андреевна описала ему с необыкновенным красноречием любовь девочки к Леночке и Леночкину заботливость о ней.

– У ней и спит в комнате! И уж как ласкается к ней, точно к родной сестре. Приятно видеть, что труды мои не пропали даром. Я внушила Леночке, что каждая христианка должна быть матерью сиротам... Леночка, Леночка! Позовите Леночку! – кричала Ирина Андреевна. – Ну, что, я думаю, каждый день видите с вашим другом Анатодем, а? Прекрасный человек, прекрасный!

– Я познакомился с его сестрой.

– Сестра его добрая женщина; она, бедная, лишилась своего мужа два года тому назад... Пять человек детей! Она убита – убита его смертью! И как были счастливы!.. Я ее выдала замуж... Ах, как были счастливы!.. Мой Анатодем обо всех заботится. Он и в Москву переехал для сестры. Но вы видали ли, говорили ли с ее бель-сер?.. А? Вот умница! Я вам скажу, французский, немецкий, английский знает, как родной язык. О, это девушка замечательная! Природа лишила ее красоты, но зато щедро наградила умом и талантами. Вы поговорите с ней: это ум мужской.

– Я не видал ее.

– О, о, о, смотрите, не влюбитесь в ее ум. Я вам скажу, что я, женщина, – я очаровываюсь ею, когда проведу с ней вечер. Она была страстно любима своим покойным братом, который сделал ее опекуней всего имения; оно очень небольшое, но жить можно.

– Мне жаль Анатоля: ему надо было бы более свободы по его призванию.

– Что делать! А обязанность брата, дяди, христианина, а? Да вот я, я... Посвятила же себя воспитанию детей; у меня почти все сироты. Я тоже не готовилась к этой роли, во мне течет его кровь. Я горда, как и он!

Ирина Андреевна показала рукой на мужской портрет, висевший над диваном, и продолжала:

– Вы, верно, знаете его. Умнейшая голова был в Москве. Я воспитывалась в его доме, – приход Леночки прервал Ирину Андреевну, которая обратилась к ней: – Ну, что твоя любимца делает, а?

Леночка, ответив на поклон Бориса Федорыча, сказала:

– Она играет в саду.

– Приведи ее сюда.

– Не беспокойтесь: я сам пойду в сад.

– Я называю его курятником, где мои цыплята гуляют... Леночка, проводи в сад м-г. Ольховского.

Леночка повела Бориса Федорыча в сад, в котором были три березы да два куста сирени. Идя туда, Борис Федорыч сказал:

– Вас ждут в воскресенье у сестры Анатоля; вы будете? Вас, кажется, они ужасно любят.

– Я там бываю каждое воскресенье... Вы давно знакомы с ними?..

– Нет, я нынче только познакомился. Анатолий страшный чудак; он, кажется, не хотел меня знакомить.

– Это мои единственные и давнишние знакомые.

– А знаете ли, что я также ваш давнишний знакомый.

Леночка посмотрела пристально на Бориса Федорыча.

– Мне Анатолий напомнил, где я вас видел; но я был с первого раза поражен: все казалось, как будто ваше лицо мне знакомо.

– Года три тому назад, на петергофском пароходе! – сказала Леночка. – Я вас тотчас узнала.

– Неужто? – улыбаясь, воскликнул Борис Федорыч. – Может быть, вы забыли, но я очень помню, как при выходе с парохода вы еще толкнули меня.

– Я этого не помню...

– Это были ваши родственники, с которыми вы ехали?

– Да, – очень дальние. Я приехала с матерью из Москвы в Петербург – учиться. Она захворала и умерла; я осталась совершенно одна и попала в дом к этой даме, что вы видели на пароходе. Я прожила там с год, и когда они поехали в деревню, то поместили меня здесь и, кажется, совершенно забыли: вот уже два года, как я не имею никакого известия о них. Ирина Андреевна писала множество писем, я тоже – и никакого ответа. Однако я, кажется, наскучила вам...

Леночка сконфузилась своего увлечения, но Борис Федорыч слушал ее с большим вниманием.

– Ирина Андреевна очень добрая женщина, – сказал он.

– Да, после моей матери я больше всех обязана ей.

– Как же вы познакомились с Анатодем?

– Сестра его воспитывалась у Ирины Андреевны. Мы часто виделись, и, когда приехал Анатолий в Москву, она попросила его давать мне уроки рисования; он был так добр, что согласился. Вот наше знакомство.

– Я завидую ему, – сказал Борис Федорыч.

И был прерван голосом Ирины Андреевны, кричавшей по-французски из окна:

– М-г. Ольховский, приласкайте сироту.

Борис Федорыч поцеловал девочку, которая крепко держалась за руку Леночки.

В этот день молодой человек довольно долго беседовал с Ириной Андреевной, которая всех и все знала в Москве.

– Княжна Марья Васильевна? Помилуйте! Да я ее очень хорошо знаю. Она ужасно меня любит; да я-то домоседка, боюсь детей оставить, я, как мать, о них забочусь, и они меня ужасно любят, слушают моего взгляда и плачут, если я не веселая. Наказанье самое страшное для них – это когда они ложатся спать и я, прощаясь, не перекрещу их. Да, надо уметь поставить себя на такую ногу с детьми, чтоб они боялись и любили. О, это очень трудно, очень трудно! Я посвятила себя этому, хотя по временам чувствую, что такой труд не по моим силам. Но что же делать! Долг наш – думать о ближних.

Ирина Андреевна действительно трудилась не по летам своим. В десять часов утра она уже сидела на своем диване, обложенная вышитыми подушками, и принимала визиты; каждый день писала писем до десяти, рассылая их по всей России. (Она считала долгом вести пере-

писку не только с матерью или родственницей воспитывающейся у нее девочки, но даже с ней самой, когда та выходила замуж и уезжала из Москвы, с ее мужем и его родственниками.) Она имела большое знакомство, страстно любила оказывать протекцию и часто успевала; лестно было услужить ей; каждому, кто ни приходил к ней, она с чувством рассказывала о добром поступке такого-то или такой-то. Поэтому многие считали долгом делать ей визиты: авось пригодится когда-нибудь. Вечером она играла в карты с Натальей Николаевной и Авдотьей Ивановной; раскладывала пасьянс, рассылала по всей Москве своего Самсона, который почитал за лучшее уходить к своим знакомым, выполняя только половину приказаний. После обеда она спала с час. Это было единственное время, когда язык ее имел отдых; Впрочем, и то не всегда: чаще, сняв чепчик и оставшись в бархатной шапочке с пришитыми к ней пуклями, она садилась у комода, отодвигала средний ящик и лакомила. Это было хранилище всех лакомств, привозимых знакомыми и родными воспитанницам, которым из этого доставалась очень незначительная доля. Ирина Андреевна очень любила подарки, которые обыкновенно называла «вниманием».

– Мне внимание дорого: значит, вы помните свою маман! – говорила она приезжающим поздравлять ее со днем ангела или по случаю праздника, принимая внимание, которое состояло большею частью из фарфоровых чашек и хрустальных стаканов. Впрочем, она не покупала ничего и по части нарядов; все было дареное. Только пукли, пришитые к бархатной шапочке, составляли собственный ее расход по туалету.

При всех своих странностях Ирина Андреевна способна была сделать и действительно доброе дело; так поступала она, например, с Леночкой, которая была забыта у нее. Она даром держала ее и ласкала; и то правда, что Леночка приняла на себя очень много обязанностей: учила детей рисованию, русскому языку, была вроде вывески для всех, кто приезжал в первый раз, потому что говорила отлично по-французски и по-немецки, обязанная началом хорошего воспитания матери и самой себе. Но все-таки много уже и того, что Ирина Андреевна не попрекала ее куском хлеба. Она только позволяла себе рассказывать каждому гостю печальную историю Леночки, которую бросили у нее и забыли: денег не платят и домой не берут.

– Что ж? Поделюсь с сиротой: другим сиротам доставало моей хлеба-соли, Бог даст, и ей достанет! У нее прекрасное, любящее сердце, привязана ко мне, как родная дочь, – откровенна, как с другом.

Иногда в осенние вечера, когда дождь лил как из ведра и Наталья Николаевна не являлась (впрочем, она вообще рано уходила домой, хоть и жила через дом, страшаясь разбойников, которых, без сомнения, очень могли пленить ее стразы, блестевшие в темноте), – в такие вечера Ирина Андреевна, сидя с Леночкой, пускалась в описание своего воспитания и жизни в доме того, чья кровь, по словам ее, текла у нее в жилах (хотя это был самый дальний родственник, взявший ее в дом из милости). Рассказы иногда были так трогательны, что у Леночки выступали слезы, а иногда так увлекательны, что Леночке снилась в ту ночь богато убранная комната, Ирина Андреевна – молоденькая, красавица собой, как она описывала себя в молодости, в бальном наряде, в бриллиантах. Одна Парасковьюшка, кажется, знала всю истинную историю жизни своей благодетельницы, но была нема как рыба.

В воскресенье Леночка явилась прощаться к Ирине Андреевне и застала в маленькой гостиной толпу гостей. Леночка была одета просто, но мило.

– Ты к своему другу души? Ну, Христос с тобой! – крестя ее и целуя, сказала Ирина Андреевна и, обращаясь к гостям, продолжала: – Уж так дружны они с сестрой моего Анатоля, так дружны, что готовы обе в огонь и в воду друг за дружку!

Леночка, раскланявшись с гостями, поспешила уйти.

– Леночка! Леночка! – закричала Ирина Андреевна.

Леночка воротилась.

– Засвидетельствуй мое глубокое почтение Клавдии Антоновне, деточек перецелуй да скажи Анатолю, что татап на него сердится, зачем не забежал вчера вечерком. Возьми Парасковьюшку... Одна – сохрани Боже!

– О нет, татап! Она меня ждет.

– Ну, с Богом. Вот сирота, брошена богатыми родными; я призрела ее, воспитываю и, право, благодарю Бога, что мои труды приносят такой плод! – сказала Ирина Андреевна вслед Леночке.

– Да, да, Ирина Андреевна: кто скажет, что она бедная сирота! Как одета! – заметила пожилая гостья.

– Не люблю, о, не люблю делать ничего вполонину. По-моему, если уж взяла сироту, то замени ей мать... Нет, пусть лучше я сама себе откажу, но сирота не должна чувствовать недостатка ни в чем.

Леночка, впрочем, одевалась на свои деньги. Она через Парасковьюшку продавала очень много рисунков для носовых платков, для вышивания подушек по бархату, делала копии с образов, рисовала букеты.

Сестра Анатоля, или Леночкин друг души, как выражалась Ирина Андреевна, была женщина еще молодая, но болезненная и всегда грустная. Она была вдова и мать пятерых малолетних детей, лишенная прав распоряжаться и теми малыми средствами, которые у них были. При жизни мужа домом правила его сестра – та самая Клавдия Антоновна, о которой рассыпалась в похвалах Ирина Андреевна, – и она же осталась главою семейства по смерти его: он сделал сестру опекуницей своих детей и состояния. Эта женщина была зла под личиною молчаливой кротости. Она воспитывалась в одном богатом московском доме и получила хорошее образование; природный ум, начитанность, прекрасная память делали ее довольно приятной в обществе. Она имела знакомство с богатыми московскими домами, знала их тайны и не последнюю роль играла в злых слухах, так часто распускаемых о молодых и хорошеньких женщинах. Когда умер ее брат, она стала еще молчаливее в доме; но от этого легче не было бедной вдове. За каждой копейкой она должна была идти к своей золовке, которая отказывала своим племянникам в самом необходимом, говоря, что она должна будет отдать отчет, если дети, ей вверенные, не будут иметь средств к воспитанию. «А хорошее воспитание – единственный источник счастья в жизни», – и на эти слова делалось особенное ударение, и злые глаза Клавдии Антоновны оставались на грустном и болезненном лице вдовы, которая, в самом деле, воспитываясь под руководством Ирины Андреевны, не могла похвалиться блестящим образованием. Она писала по-русски и по-французски с ошибками, что доставляло Клавдии Антоновне неистощимый источник к насмешкам. Несчастливая в замужестве, она скрывала от брата свое горькое положение; но когда муж умер, она скоро почувствовала, что невмочь ей бороться с мелочными ежеминутными неприятностями, и призвала на помощь брата. Анатолий пожертвовал для нее всем, чем мог, то есть переехал в Москву, сделался учителем рисования, чтоб доставать больше денег, и решительно не думал уже об Италии. Впрочем, на это была еще другая причина.

Итак, вот куда поехала Леночка.

Несмотря на раннее время своего приезда, она уже застала там Бориса Федорыча, который, улучив минуту, сказал ей с выразительным взглядом:

– Как мы давно не видались!

– Как давно? – спросила Леночка, избегая его взгляда.

– То есть для меня! Я не смел очень часто бывать у Ирины Андреевны, – тем более, что вы не всегда свободны, как мне сказали. Как вы поздно ложитесь спать! – прибавил он.

– Почему вы это знаете?

– Я проезжал мимо вчера во втором часу: в вашей комнате был огонь... Что вы делали? Леночка так сконфузилась, что едва могла произнести:

– Читала.

Борис Федорыч не отходил от Леночки: за обедом сидел возле нее, когда пошли гулять, предложил ей свою руку. Все были веселы; даже Клавдия Антоновна хмурилась меньше обыкновенного.

Никогда еще воскресенье так скоро не проходило для Леночки; она, как ребенок, досадовала, собираясь в пансион.

С той поры каждое воскресенье Леночка видела Бориса Федорыча у сестры Анатоля и раза два в неделю у Ирины Андреевны, которую и он начал называть – впрочем, очень редко – тамап.

– Вот так, мой милый, дайте руку, дайте! У меня теперь два сына! – в восторге воскликнула Ирина Андреевна, дождавшись от него этого лестного названия.

– Люблю Анатоля, очень люблю, – часто говорила она, сидя вдвоем с Леночкой, – но к Борису Федорычу как-то еще больше сердце лежит. Он такой открытый. А как хорош! Какие манеры! Вот, я думаю, с ума-то сводит женщин!

Леночка слышала похвалы Борису Федорычу даже и от Клавдии Антоновны, которая с некоторых пор изменилась: стала внимательна к Леночке, даже сама в будни приезжала за ней, и всегда в таких случаях Борис Федорыч был на даче. В прогулках она обыкновенно брала руку Анатоля и с жаром говорила о любезности и уме Бориса Федорыча, который вел под руку Леночку. Вообще Клавдия Антоновна так устраивала прогулки и направляла разговор, чтоб раздражать Анатоля, и потом, видимо, наслаждалась его резкими выходками, иногда переходившими пределы приличия. Леночка начала уже чувствовать необходимость видеть Бориса Федорыча, жила только теми днями, как его видела, что не укрылось, вероятно, от него; да и где было Леночке, почти еще ребенку, иметь столько опытности, чтоб скрыть первые ощущения сердца? Она была влюблена в Бориса Федорыча, не подозревая этого сама. Борис Федорыч, кажется, тоже начинал влюбляться. Он уже пожимал руку Леночки, которая в таких случаях вся дрожала, но не сердилась, – и раз, возвращаясь с гулянья, он отстал от Анатоля и его дамы и тихо сказал:

– Элень, ты любишь меня?

Девушка так испугалась, что заплакала. Борис Федорыч поцеловал ее, назвал *ты*. И когда они возвратились, Леночка была так весела, так счастлива, что Клавдия Антоновна сказала тихо Анатолю, с некоторого времени очень мрачному:

– Не правда ли, весело смотреть на влюбленных?

– Как? Кто влюблен? – побледнев, спросил Анатоль.

– Неужели вы не замечаете? Элень без ума влюблена в вашего приятеля.

Анатоль как бы ошеломился. В тот вечер он не спускал глаз с Бориса Федорыча и Леночки и увидел, что замечание старой девицы справедливо. Первая любовь девушки так детски проявляется, что невольно вызывает мужчину делать глупости, и Борис Федорыч делал их очень много.

С того дня Анатоль впал в страшное уныние; он никуда не показывался, к крайнему огорчению Самсона, которого Ирина Андреевна каждый день гоняла спрашивать о здоровье Анатоля.

Влюбленные выискивали все средства видется. Покровительница их сначала устраивала свидания, наконец восстала и решительно объявила вдове, что не стерпит более «такого скандалу». Надо было сказать Леночке; но кто решится? Анатоль и слышать не хотел, сестра его плакала. Старая дева сама положила конец всему.

В одно прекрасное утро Клавдия Антоновна явилась к Ирине Андреевне и была принята радостно, как гостья довольно редкая.

– Клавдия Антоновна, голубушка, родная, вот удружили старухе, садитесь, садитесь, – целуя гостью и усаживая на стул, говорила хозяйка дома. – Все ли здоровы; ваша *bel soeur*, деточки? Кажется, рождение было третьего дня вашего Коли?

– Да! Как ваше здоровье? – спросила Клавдия Антоновна.

– Плохо-с! Да что! Стара, хлопоты, заботы!

– Да, ваша обязанность тяжела.

– Вы умная женщина: вы хорошо понимаете, что посвятить тебя воспитанию детей нелегко! Нет, надо иметь теплое сердце, строгие правила и большую твердость... Большую! – набивая нос табаком и тяжело вздыхая, говорила Ирина Андреевна.

– Я к вам от *bel soeur*, – прервала ее Клавдия Антоновна.

– Что угодно? Что угодно? Я ее люблю; я думаю, она бедненькая не утешилась еще: так была счастлива с вашим братцем!

– Сестра прислала меня спросить, знаете ли вы хорошо Бориса Федорыча?

– Бориса Федорыча! Я, говорит, вас, *мапан*, за то люблю – он меня тоже называет *мапан*, – что вы Леночку так воспитали.

Клавдия Антоновна улыбнулась язвительно и сказала:

– Если он порядочный человек, то действительно должен будет очень благодарить вас за Елену Александровну.

Ирина Андреевна вытаращила глаза, разинула рот, но на этот раз не нашлась ничего сказать.

– Вы знаете, что моя *bel soeur* принимает сильное участие в Леночке.

– Как же! Это сестры, она друг души Леночкиной! – с удивлением воскликнула Ирина Андреевна.

– Впрочем, мы все принимаем участие в ней, и Анатоль тоже.

– А я сердита, очень сердита на него: он забыл свою *мапан*! Забыл!

– На это есть причина: не сердитесь.

– Какая? *Маман*-то свою забыть!

– Меня *bel soeur* просила сказать вам, чтобы вы Леночку не отпускали к ней некоторое время, под каким-нибудь предлогом; только, пожалуйста, не говорите ей причину.

Ирина Андреевна привскочила на своем диване и как бы не верила своим ушам.

– Мы живем на даче, кругом публика, домик маленький: ну, знаете, влюбленные...

– Как влюбленные? Леночка!

– Да! Что же странного? Она молодая девушка, Борис Федорыч умен, хорош собою, одет всегда отлично, кажется, богат, судя по его словам.

И в голосе Клавдии Антоновны слышалась злейшая ирония.

– Влюблена! Леночка! – в каком-то восторге повторяла Ирина Андреевна.

– Да, это нас всех очень беспокоит, а всех более Анатоля: он на себя не похож. Мне так жалко его; я ему и говорю, что он ничем не виноват, если что случится; разве можно ручаться за своего школьного товарища. Леночка молода, неопытна, она не понимает, что доброе имя людей, принимающих в ней участие, очень легко могут отдать на суд публики. И я часто думала о вас, добрая Ирина Андреевна: это может очень много, много повредить вам.

– Как? Леночка сделает такую вещь, которая оскорбительна будет для моей чести! А благодарность ее ко мне? Я ей мать заменила... Нет, нет, Клавдия Антоновна! Леночка не способна на это.

– Ах, Ирина Андреевна! Мы с вами также были молоды: припомните, как легко жертвовешь всем для любви.

Ирина Андреевна сконфузилась и, понюхав табаку, сказала:

– Я благодарна вам. Если я отпускала Леночку без себя, то знала, что она идет в такой дом, все равно я как будто при ней.

Клавдия Антоновна улыбнулась.

– Да, один Анатоль следил за ней, как самый ревнивый муж.

И гостья встала; кланяясь Ирине Андреевне, она прибавила:

- Прощайте; пожалуйста, и намеку не делайте Леночке, о чем я сказала.
- Помилуйте! Я ли не знаю, как надобно быть осторожной в таких вещах!

Гостя ушла. Ирина Андреевна тотчас написала записку к Борису Федорычу, прося его немедленно приехать к ней, а потом она позвала к себе Леночку; Леночка, очень хорошо изучившая Ирину Андреевну, тотчас догадалась, что с ней происходит что-то особенное.

- Что вам угодно, матан? – спросила Леночка.
- Сядь, мой друг! – величаво отвечала Ирина Андреевна.

Леночка села. С минуту длилось молчание; наконец Ирина Андреевна, понюхав табак и тяжело вздохнув, сказала наставительно:

- Молодая девушка прежде всего должна думать о своем добром имени.
- Для Леночки было довольно: она поняла, в чем дело, и вся покраснела.
- И не только о своем, – продолжала Ирина Андреевна, – а более еще о добром имени тех, кому она всем обязана.

- Матан! Что я сделала? – чуть не плача, спросила Леночка.
- Я заменила тебе мать, друг мой! Значит, ты во всем должна признаться мне.
- В чем?
- Борис Федорыч...
- Матан!
- Я очень рада, что ты можешь себе сделать хорошую партию, – сказала Ирина Андреевна.

Леночка с удивлением взглянула на Ирину Андреевну, которая продолжала:

- Да! Только женись на тебе, он может поправить все. Ты должна требовать.
- Матан, матан! – вскакивая, с ужасом воскликнула Леночка.
- Так ты хочешь отдать мое имя на позор моим врагам? – воскликнула Ирина Андреевна. – Все знают уже, что он видится с тобой часто. Клавдия Антоновна приезжала предостеречь меня.

Леночка с отчаянием глядела на Ирину Андреевну, которая, забыв всякую осторожность, обещанную Клавдии Антоновне, продолжала:

- Твой друг души просил меня не отпускать тебя более к ней. Анатолий из-за тебя перестал бывать у меня. Ему, голубчику, совестно и жалко свою матан!
- И Ирина Андреевна заплакала.
- Матан, пощадите меня! – зарыдав, воскликнула Леночка.
- Тс! Это Борис Федорыч; я за ним посылала, – сказала Ирина Андреевна.

Леночка побледнела и чуть не упала на колени перед Ириной Андреевной, воскликнув умоляющим голосом:

- Ради бога, не говорите ему ни одного слова об этом. Я убегу, я не знаю, что я сделаю... Только не говорите ничего. Я даю вам слово никогда его не видеть. Вы знаете, что я могу сдержать свое слово!

Леночка имела такое решительное и отчаянное выражение лица, что Ирина Андреевна пугливо сказала:

- Что за глупости! Я ничего не скажу, я только выведаю его мнение.

Они говорили шепотом.

Борис Федорыч прохаживался в зале.

- Пожалуйста, любезнейший Борис Федорыч, пожалуйста! – громко сказала Ирина Андреевна.

Леночка кинулась к двери и, несмотря на жесты своей матан, приглашавшей ее остаться, скрылась. Борис Федорыч вошел в гостиную. Ирина Андреевна приняла его с какою-то особенною вежливостью. Они сели, и прошло с минуту молчания, что очень удивило гостя.

- Вы желали говорить со мной? – сказал он.

– Да-с.

Борис Федорыч вопросительно глядел.

– Вы скоро едете из Москвы?

– Я думаю, что скоро.

Ирина Андреевна понюхала табаку и сказала, лукаво глядя на него:

– Скажите-ка своей татап, вам не жаль Москвы оставлять?

Борис Федорыч медлил ответом.

– Я весело провел время, – сказал он, – и...

– Только-то! – воскликнула Ирина Андреевна и, тяжело вздохнув, продолжала: – Вот север... Холодно, тут холодно!

И она указала на сердце.

– Вот мы, москвичи, мы радушны... Я знаю, что есть одно сердце, которое очень, очень огорчится вашей холодностью.

– Что же это за сердце?

– Плутиска! У, как смотрит лукаво! – грозя Борису Федорычу, сказала Ирина Андреевна и, подмигнув ему, продолжала: – Секрет! Не могу! Секрет!.. Только жаль, что она выбрала север.

Борис Федорыч самодовольно улыбнулся.

– У меня что-то Леночка худеет, такая все скучная; право, не знаю, что с ней!

И Ирина Андреевна вопросительно уставила свои блестящие глаза на Бориса Федорыча, который то застегивал пуговицу у перчатки, то расстегивал. Хозяйка дома кашлянула и продолжала:

– Вы давно не были у Анатоля и его сестры?

– Я был вчера на даче; но их не было дома.

Ирина Андреевна таинственно попросила Бориса Федорыча пересесть поближе к себе и потом тихо сказала, поглядывая на двери:

– Они были дома.

Борис Федорыч молчал.

– Вы догадываетесь, в чем дело? А? Все влюбленные эгоисты... Да! Да! – и Ирина Андреевна ударила его раза два по колену.

– Это что за сплетни! – с горячностью воскликнул Борис Федорыч. Ирина Андреевна сконфузилась и пугливо сказала:

– Соседи! Ей-богу, соседи! Кругом народ, дача маленькая. Я более не могу пускать Леночку туда. Как угодно, а я ей заменила мать, – продолжала она, возвысив голос. – Бог знает уж что толкуют! Я имею врагов: как раз осрамят на всю Москву!

– Эти толки несправедливы; я ничем не подал повода. Анатолю...

– Ах, как он огорчен, как он огорчен! Я все вам скажу... Он от стыда ко мне нейдет, он Леночку любит, как родную сестру.

– Кажется, еще более! – иронически заметил Борис Федорыч.

– Это правда. У него сердце такое доброе: я наверное знаю, что он очень огорчен.

– Я, право, не знаю, чем ему огорчаться. Я непременно буду с ним говорить.

Борис Федорыч находился в раздраженном состоянии. В эту минуту дверь раскрылась, и Леночка, бледная, дрожащая, вошла в комнату.

– Посмотрите, посмотрите, как она, бедненькая, убита! – воскликнула с упреком Ирина Андреевна.

Леночка произнесла довольно повелительно: «татап!», сухо поклонилась Борису Федорычу и гордо сказала:

– Я прошу вас не делать никаких и ни с кем объяснений. Вся эта история выдумана одной особой, ненавидящей меня. Я более вас не могу видеть. Сделайте одолжение, татап,

я вас прошу, имейте ко мне настолько жалости, чтоб прекратить все это разом; не говорите об этом более ни с кем. Прощайте, Борис Федорыч! Извините, что я невольно была причиной неприятностей, в которые вас впутали.

И Леночка вышла.

Борис Федорыч и Ирина Андреевна, пораженные гордым тоном Леночки, молчали.

– Господи, да что с ней! – произнесла Ирина Андреевна, садясь на диван, потому что при появлении Леночки она невольно привстала.

Борис Федорыч раскланялся и хотел идти; но Ирина Андреевна получила уже способность говорить и с достоинством произнесла:

– Я вас прошу более не посещать меня. Я и так теперь буду предметом толков злых людей: у меня есть враги, которые очень рады всякому случаю...

Борис Федорыч, рассерженный, оставил гостиную. Он так был далек от мысли жениться, что ему и в голову не приходил тайный смысл намеков Ирины Андреевны.

В первые дни он очень легко смотрел на разрыв свой с Леночкой, но потом мало-помалу стал чувствовать, что ему чего-то недостает. Куда он ни являлся, ни на чьем лице не замечал он той радости, того счастья, каким озарялось лицо Леночки при его появлении. Видеть хорошенькую женщину, влюбленную в нас, – что может быть лестнее самолюбию мужчины? И чем еще заманчива любовь девушки – это бесконечным простодушием, бесконечной доверчивостью. Она всему верит и всем довольна. Борис Федорыч бодрился, однако стал чувствовать тоску и ужасно скоро пришел в отчаяние, что не видит Леночки. Он написал ей, умоляя назначить ему свидание, и в большом волнении ждал ответа.

Леночке с той минуты, как она решилась более не видать Бориса Федорыча, казалось, что она очутилась в какой-то пустынной стороне. Ее никто и ничто не занимало. Она исполняла свои обязанности машинально, слушала равнодушно жалобы своей мамы, которая разослала письма к Анатолю, к Клавдии Антоновне и к другим о том, что в ней течет бухаровская кровь, что она горда и потому отказала от дому Борису Федорычу. Леночка также холодно слушала сплетни Клавдии Антоновны насчет завистливой дружбы и глупой ревности, которые могут отравить все счастье человека. Старая девица старалась всю историю свалить на Анатоля и его сестру. Она уже успела узнать все подробности об имении Бориса Федорыча, о родных его и о положении в свете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.